

## Глава 7

### Смутное время /1917–1920 гг./

Во второй половине февраля 1917 года В.Е. Иваницкий был вызван в совещание, созванное в Могилеве — при ставке Верховного Главнокомандующего, в целях объединения некоторых санитарных мер на всех фронтах. Я должен был встретиться с ним в Могилеве к концу работ совещания, чтобы совместно ехать в Петербург для доклада Главному Управлению Красного Креста о различных наших текущих нуждах. Около трех лет я ни разу не был в столице. Мысль о встрече с друзьями и сослуживцами, о том, чтобы хоть один раз побывать в моем любимом Мариинском театре, вообще отдохнуть несколько дней от однообразия моей работы, чрезвычайно бодрила меня, и это была последняя в моей жизни поездка, когда все в пути казалось занимательным и веселым. Я наслаждался даже самым процессор езды — на автомобиле по паркетному Черниговскому шоссе; тихи Чернигов, где я ночевал в нашем госпитале, наполнял душу уверенными мечтами, что скоро, самое большее через год, конец войне, без сомнения победной, так как наша армия снабжена во всех отношениях образцово, а немцы выдыхаются, и начнется мирная тихая жизнь с неизбежным спокойным прогрессом во всех направлениях. В вагоне, по пути от Могилева, я покупал столичные газеты, старался найти в них репертуар театров: решил пойти один раз в оперу и один раз в балет; после трехлетнего художественного голода это казалось мне чем-то чрезвычайно заманчивым. В Киеве были, конечно, театры, но я не был в состоянии их посещать; уставал от работы и не было настроения; раза два-три пошел, но мысли были мои так далеки от происходящего на сцене, что я даже забыл, что именно видел и слышал.

По мере приближения нашего к Петербургу все упорнее становились слухи, что там начались какие-то беспорядки; за несколько станций до Царского Села уже говорили о революции, но мы, привыкшие на фронте к различным паникерским слухам, не верили, думали, что дело сводится к каким-нибудь мелким беспорядкам в «хвосте за хлебом». Верить в голодный бунт нельзя было потому, что для этого не было никаких объективных условий, политический же переворот, на который делались давно намеки, ожидался в иной, не уличной, форме. По прибытии нашем в Царское Село

пришлось, однако, поверить: не было газет; лица, приехавшие из Петербурга рассказывали о стрельбе, побоищах. Вечером 27 февраля, когда я вышел из вагона, то, что я увидел разрушило сразу и мое настроение. И мои спокойно-эстетические планы. Извозчиков и носильщиков не было; на вокзале казалось как-то мрачно, темно, как будто бы он не весь был освещен; явственно доносился треск стрельбы. Пришлось сдать вещи на хранение и пешком идти в город, который тоже казался или действительно был необычно темным. Звуки выстрелов по длинным широким улицам раздавались так сильно, что все время казалось, что стрельбы происходит где-то за ближайшим углом. Приходилось часто на всякий случай останавливаться и переждать, а тут еще я был не один — со мной приехал один из помощников Главноуполномоченного Северного фронта Л-ть; он был ранен в ногу, не мог идти и часто присаживался на тротуарную тумбу, чтобы отдохнуть. Мне не хотелось оставлять его одного. Сопровождавший его санитар, бывший придворный лакей, был очень взволнован и всю дорогу, при каждом сильном залпе, наклонялся к моему уху /он был очень высокого внушительного роста/ и зловеще шептал: «поверьте мне, Ваше Превосходительство, что все не иначе. Как жида». Мы пробирались через мрачные Семеновские казармы и потом по Николаевской улице; в это время толпа зверски расправлялась с Полицейским Управлением на Загородном Проспекте; оно было обстреляно; пристав или околадочный был потом вытащен на улицу после ранения и брошен, еще живой, в костер. Стрельбы на Загородном казались очень близкой к направлению нашего пути. Я решил остановиться у моего холостого друга, камергера М.С., жившего как раз на Николаевской улице, близ Разъезжей; предложил туда же зайти и моим спутникам. Мы были все в военной форме, в папахах; я забыл о придворном звании С. и громко, протяжно позвонил у его дверей; последние слегка приоткрылись на цепочке и раздался знакомый, но совершенно перепуганный голос Маши — прислуги С.: «кто это, кто там?» Когда она увидела наши папахи, вскрикнула только «ах» и поспешно захлопнула дверь. К счастью, я вскоре услышал в прихожей знакомые шаги С. и крикнула ему через дверь: «отворяй, свои!» Мы радостно встретились после долгой разлуки и много смеялись над трусостью Маши, которая, впрочем, лучше нас давала себе отчет в происходящем и предчувствовала, что скоро начнут убивать не только за придворное звание, а просто за нехамский вид. У меня резко остались в памяти ее слова, сказанные с большой искренней грустью на другой день: «неужели же, если теперь Царь приедет в Петербург народ не примет его и не простит ошибок, какие были?» «Ошибками» Маша, как и все тогда, считала Распутина, но она даже и мысли не допускала о желательности и возможности отречения Царя; ее инстинкт подсказывал ей, какие ужасные потрясения вызовет «уход» Царя, подсказывал то, Чего не мог постигнуть ум нашей интеллигенции, в том числе и мой.

Я провел в Петербурге только один день — день разгара уличных выступлений толпы и, главным образом, запасных солдат. По углам, в виде полицейских, стояли как и в 1905 году, какие-то волосатые южные, с тупыми физиономиями, люди. Все время встречались автомобили-грузовики с тол-

пою солдат в них, державших на перевес ружья, и особенно внимательно осматривавших пешеходов в военной форме. Эти пристальные злые взгляды, когда они фиксировались на моей папаше, сильно нервировали. Когда я сидел в кабинете С., у окна раздался револьверный выстрел и одновременно страшный крик Маши: «убит, убит». Какой-то молодой человек, проезжал мимо на извозчике, выстрелил в себя и упал к окнам квартиры С. Началось великое пролитие крови, повсюду в честь «бескровной» революции.

Из экстренных листков мы узнали, кажется, уже по пути в Могилев, о полной прострации Правительства: /фактически его не было/ и с тем, что Государственная Дума постановила расходиться и образовала особый Комитет который и берет власть в свои руки.

Под выстрелами я и Иваницкий добрались пешком, разными закоулками до Царскосельского вокзала. Когда мы сидела в красивом пассажирском зале, вдруг затрещал пулемет и посыпались стекла больших вокзальных окон. Пулемет победоносных революционеров обстреливал мирный вокзал с колокольни соседней церкви, потому что им показалось что-то на крыше вокзала подозрительным. Зал мгновенно опустел; (Л. 348) я забыл там свой чемодан, за которым пришлось вернуться одному в пустой зал; какое-то особенно жуткое чувство — в момент опасности быть наедине. Когда поезд наш тронулся, у меня было такое же ощущение, как при выезде из районов боевых действий на фронте: считал несчастными оставшихся и животно радовался за себя.

В пути у меня начался длительный и острый спор с Иваницким. Он доказывал, что немедленно надо в Петербург направить несколько батарей и все беспорядки буду кончены, а тогда уже можно говорить о переменах в Правительстве и т. п., я же, озлобленный слухами о придворной борьбе за сепаратный мир и т. п., считал, что теперь военной силой беспорядков не унять, что происходящее в столице не бунт, а всероссийская революция. По дороге мы встретили генерала Н.И. Иванова с частью его отряда. По его распоряжению почему-то все пассажиры, ехавшие из Петербурга, обыскивались, к ним отбирались экстренные выпуски различных столичных объявлений о событиях. Это делалось в то время, когда телеграф разносил известия и призывы новой власти во все концы России. Было что-то несерьезное в этом походе на столицу, и сам Иванов, ходивший с воинственным видом по глубокому снегу близ нашего поезда и о чем-то горячо говоривший с Иваницким, казался мне каким-то ненужным, смешным. Не в Петербурге, а в Ставке, должны были решиться судьбы России, там, откуда можно было бы еще новому Правительству или даже самому Царю давать распоряжения вооруженным силам фронта, перед которым Петербург, при подъеме патриотизма и доверия на фронте, неминуемо склонился бы. Но всех, и укротителей, и примирителей, во главе с последним Царем Империи Михаилом Александровичем, фатально почему-то тянуло к Петербургу, где уже нарождалась зараза в виде не русского, не национального совета рабочих и солдатских депутатов.

В Ставке мы были первыми прибывшими из восставшего Петербурга. Нас нарасхват, как очевидце, зазывали, расспрашивали различные чины

Ставки. Среди собравшегося генералитета Иваницкий и я продолжали свой дорожный спор. Генералы молчали, очевидно, никто не отдавал себе ясного отчета в происходящих событиях; только один очень пожилой генерал /не помню его фамилии/ кратко возразил Иваницкому: «сейчас в русской армии нет части, которая пошла бы стрелять в народ». Его возражение не прервало молчание прочих генералов. Я почувствовал, что все они со мною, с русской интеллигенцией. Все они не верили старому и хотели нового, и все в тот момент не предвидели того, что предчувствовало меньшинство интеллигенции, например, Иваницкий — гибели нашего фронта; думалось, что переворот возбудит только патриотические чувства, укрепит стремление и веру в скорую победу над врагом.

И вот теперь, вне взбудораженной обстановки первых дней нашей смуты, через много лет, после гибели нашей родины, я стараюсь дать себе отчет в том, кто же прав в неоконченном до сих пор споре, те ли, кто считал февральские события в Петербурге простым военным бунтом местного значения или те, кто мечтал о завоеваниях революции, убежденно говорю: не правы ни те, ни другие; правы только те, кто желал военный бунт ли, дворцовый ли переворот, безразлично, использовать для попытки создать мировые потрясения и начать проводить в жизнь свой утопически-фанатические верования, правы, так как для них нет родины и нет понятия о свободном гражданине-человеке, живущем не единым хлебом.

Говорить о военном местном бунте, по моему мнению, нельзя после того, как приказы, воззвания и проч. бунтовщиков с первых же дней бунта начали исполняться все чиновной, военной и общественной Россией; если бы этому бунту не сочувствовала масса интеллигенции, она не придала бы ему сама, своим активным или пассивным содействием, значения всероссийского переворота. Была создана какая-то стена между царем и этой интеллигенцией, стена страшных недоразумений и взаимного непонимания.

С другой стороны, если бы мы, русская интеллигенция, ясно сознавали, могли бы предвидеть кто восторжествует, какие идеалы будут поставлены через несколько дней после переворота, то большинство из нас предпочло бы потерпеть, чем торопиться с этим переворотом, большинство согласилось бы смотреть на столичные беспорядки, как на простой бунт, а не как на способ добиться изменения государственного порядка. Это, наверное, так, ибо все-таки большинство в России, даже если говорить не только об интеллигенции, а обо все народе, пока искусственно не пробудили в нем чисто зверских эгоистических инстинктов, желало не разрушения, а порядка на своей родине, хотя бы в своей деревне.

(Л. 350) У нас любят винить в происшедшем определенно тех или иных лиц: председателя Думы Родзянку, генералов Алексеева, Русского, Брусилова, даже бездарно-жалкого Керенского и т. п., как будто бы они создавали события, а не являлись простыми ярлыками на том или ином их направлении; Наполеона среди них не было, а каждый из них стремился по мере его сил и способностей ко благу родины, как она и понимала, будучи только случайно вынесенной наверх песчинкой в историческом, волею Про-

видения, вихре тех несчастных недоразумений, которые были ниспосланы нашей родине и могут быть названы правильнее всего не бунтом, не революционным завоеванием, а просто смутным временем: смутой в душах, сердцах и умах той части русского народа, во главе с его Царем, которая давала направление его политической жизни; к этой смуте виноваты все, а не то или иной определенной лицо.

Генерал Алексеев принял нас с обычной его ласковостью, но без любопытства, так как ясно было, что он уже знает уже больше, чем мы могли бы ему рассказать. Он сносился с выехавшим из Ставки Царем и Государственной Думой. У Алексеева была температура свыше 30 градусов, воспаленно лицо, но в общем бодрый вид. Он попросил нас подождать, сославшись на «чрезвычайной важности телеграмму», которую должен продиктовать для передачи по прямому проводу. Я сидел у двери соседней комнаты, где диктовалась телеграмма. Я слышал, ставшие потом историческими, слова: «долг перед родиной... отречение от Престола»... и т. д. Чувствовалось, что проволока телеграфа из соседней комнаты передает нечто, решающее ближайшие судьбы России.

По дороге в Киеве нам стал известен состав Временного Правительства. Назначение Керенского Министром Юстиции было первым моим крупным разочарованием в происходящем перевороте. Вопреки нашим ожиданиям, в Киеве все было спокойно, переворот был принят населением и продолжалась обычная работа. Отречение нового Царя Михаила и выступления Керенского, хотя уже и казались для многих опасными признаками, но порядок, который был на фронте, обнадеживал, что все наладится, приведет нас к победному концу и разумным внутренним реформам.

Рабочие устраивали какие-то праздники-манifestации. Лица у них не были тогда озверелые, их не отравили еще злобой ко всему, на них по внешности не похожему. Длинные ряды процессий останавливались среди улицы перед извозчиками или автомобилями, чтобы дать им возможность проехать; никаких оскорблений по адресу «буржуев»; т. е. всей интеллигенции не было; наоборот была бодрая и веселая предупредительность. Но все это продолжалось не долго: злобная отравка уже ползала по все стране. Керенский уже кричал на съезде в Москве, что наше судебное ведомство, которым мы так гордились, бесчестно в его массе; он требовал, чтобы прокурорский надзор приветствовал преступников, выпускаемых из тюрем. Красный Крест был поражен известием, что ведомство Керенского, ища популярности не только среди политических, но и уголовных арестантов, явилось инициатором правительственного распоряжения о праве всех преступниц, кроме убийц, которые пожелали бы загладить свои вины, отправляться на войну в качестве сестер милосердия. Этот акт нового правительства прошел как-то незамеченным для широких кругов общества, но в нем сказались вся тупая невежественность новоявленного руководителя русской юстиции. Главному Управлению Красного Креста пришлось доказывать правительству такие истины, что уголовных преступниц нельзя механически сделать сестрами милосердия, что для этого необходимы известные знания, что звание сестры милосердия дается общинами, на осно-

вании их уставов, которых правительство изменять не имеет права и т. д. На уличных рабочих манифестациях стали уже появляться знамена с кровавыми надписями: «мир хижинам — смерть дворцам» и т. п. На фронте стал известен знаменитый приказ №1, сделавший наши армии «самыми свободными в мире». В театрах начинались манифестации против «буржуев» или вообще «интеллигенции». Два талантливых чутких куплетиста, порожденных или вернее развернувшихся во время революции, Сокольский, убитый в конце концов большевиками, и Павел Троицкий, прерывались уже, во время их куплетов, грубыми злобными окриками какой-то серой солдатской массы, заполнившей раек и задние скамейки театров. Сокольский пел, что главный герой теперь офицер, до конца честно исполняющий свой долг, что и «Декабристы» были офицеры, титулованные князья, графы и т. д., а теперь всякий офицер стал только «буржуй» и серая толпа, пока еще трусливо, но уже настойчиво неодобрительно рычала, вводила, вместо свободы свою цензуру, достигшую своего идеала через полгода при большевиках, когда была уничтожена вся частная пресса. Павел Троицкий говорил под гитару свои знаменитые куплеты с пророческим припевом: «останутся одни товарищи и больше ни черта»; они свои остроумным содержанием были не в бровь, а в глаз сравнением того, что было и что есть. «Прежде», говорил Троицкий, «мчится поезд и в нем сидят буржуи, а теперь, шалишь, поезд стоит и мимо него идут все рабочие, да рабочие, буржуев и не видно; прежде на улице стоял городской, сам не знал, для чего он стоит, а теперь милицейский — только заметит бешенную собаку — стреляет, и, глядишь, лежит на мостовой кто-либо из гуляющих; немцы прежде хвастали, что возьмут Ригу, а теперь, дудки, мы сами там скоро будем» и т. д. Свои куплеты Троицкий кончил мечтательным заявлением: «пойду-ка я все-таки завтра на базар, посмотрю в последний раз на белый хлеб». Злобные выкрики товарищей не могли обыкновенно заглушить громких аплодисментов почти всего театра.

В Киеве в здании педагогического музея имени Цесаревича Алексея, который, по мысли жертвователя, должен был служить «благому просвещению русского народа», начала захватным порядком, тем же способом, как овладел в Петербурге Ленин особняком Кшесинской, непрерывно заседать «Центральная Рада», выкинувшая свой желто-голубой флаг над этим красивым зданием и начавшая ряд злобных выходов против того самого народа, которому было завещено самовольно захваченное здание. Председательствовал в Раде «батько Грушевский», один из ярких ненавистников России, автор знаменитой по ее лживости фантастической истории Украины. Не прошло и нескольких месяцев, как титул «батько», те же рабочие и крестьяне, что собрались под «желто-блукитным» флагом, заменили название «сукин сын», ибо Грушевский не обладал все-таки даром призывать к грабежам, как Ленин и Троцкий, и узко национальная малорусские задачи народу были чужды. В Киеве приезжали Министры Временного Правительства Терещенко и Некрасов; они самостоятельно дали Грушевскому и Ко какую-то автономию, и тогда началась, под премьерством больного душой малорусского писателя Ваниченко, какая-то такая

малорусская рапсодия, смысла которой порой, по-видимому, не понимали и сами исполнители ее... На наши расспросы, с какой целью в разгар войны (Л. 353) дается автономия той части России, которая является важнейшим из военных фронтов, Терещенко отвечал только: «ну почему же им не дать автономии?» Это «объяснение» мало, конечно, кого удовлетворяло.

Тем не менее, очень хотелось верить, что не все еще потеряно.

Поэтому мы, желавшие верить, хватались за речи Керенского о войне, думая, что он отражает в них настроения столичного совета рабочих и солдатских депутатов. Речи были красивы, с подъемом; говорили, что перед своими выступлениями Керенский кокаинизируется, но на это не обращали внимания; важны были результаты, а не средства. Теперь принято яростно поносить Керенского, как будто бы это была, действительно крупная сила, от которой зависел ход событий. Думаю, что этим оказывается излишне-большая честь этому случайному «государственному» деятелю. Я совершенно не в состоянии подозревать его в желании причинить умышленный ущерб нашей родине или в преследовании каких-либо чисто личных целей, а просто считаю, что Керенский, по своему небольшому уму и слабому политическому образованию, был типичным представителем той части русской интеллигенции, которая вместо реальной работы проводила свою жизнь в социалистических мечтах. Керенский был полезен России только тем, что продемонстрировал своей личностью, какова та среда, которая задвинула его в первые ряды. Он был несомненно нравственно опрятнее, честнее, и даже деловитее, чем другие его товарищи, например, Чернов, — он, может быть, наилучший из его среды, и тем поучительнее это для тех, кто мог когда-либо верить, что она способна на какое-либо творчество.

Наши мимолетные, после переворота, успехи на юго-западном фронте создали некоторый временный ореол вокруг имени «Главного уговаривателя» Керенского; ему устраивали овации, его портреты покупались и вешались на стенах квартир даже некоторых бывших «бюрократов», превратившихся внезапно с 1 марта 1917 года в социалистов. Я раздражался, когда добрейший и деликатнейший доктор А. мягко выговаривал мне по поводу возобновившегося наступления нашего в Галиции: «но сколько же погибло офицеров; не одни ли они, без солдат ведут наступление?» Я злобно и грубо упрекал его паникерстве, которое, действительно, может погубить дело войны. Он не спорил долго, только с кроткой добротой смотрел на меня и вздыхал, пуская на меня (Л. 354) клубы табачного дыма; как бы угадывая то, что происходит в глубине моей души. Потом мне стыдно было вспомнить о моей грубости и печально-ласковых глазах А. во время наших споров.

Злили меня тогда и та нервность, с которой относились некоторые мои товарищи по службе к распоряжению военных властей явится на присягу новому правительству. К присяге нас приводили в Военном Николаевском Соборе, на Печерске. Священник почему-то опоздал; толпа наших служащих, во главе со старшими членами, многочисленные санитары, шоферы и т. п., ходили по двору Собора; хотелось, чтобы скорее кончилась неприят-

ная процедура, а священник все не шел, так что пришлось послать за ним. Я боялся, что мрачное выражение лиц, некоторых моих сослуживцев может возбудить нежелательные толки среди низшего персонала, породить рознь, которая погубит дело. В церкви у некоторых из них во время присяги стояли на глазах слезы; об этом «низы» уже начали перешептываться. Вскоре я понял смысл этих слез и стыдился моего недовольства ими.

Вообще всякая громкая критика происходящего мне казалась вредной, губящей единение необходимое, как я думал, для скорейшего введения государства в нормальное русло и для победы над врагом.

В целях этого единения, я в первые же дни по возвращении моем из Петербурга созвал под своим председательством общее собрание всех подчиненных мне служащих. Тогда уже началась эпидемия различных собраний, митингов, съездов. Некоторые из членов нашей канцелярии говорили мне, что молодежь наша волнуется, желает собраться, чтобы обсудить текущие события и какие-то свои нужды, что особенно агитирует студент М., который с первого дня переворота украсил свою грудь громадным красным бантом, совершенно не пропорциональным его крайне маленькому росту. Кстати, о красных бантах, которыми так легко и быстро позорили себя многие военные — я говорю, конечно, не о тех, которые жертвовали своими убеждениями в целях поддержания порядка на фронте, а о тех, так сказать, «добровольцах», которые легко могли обойтись без этого признака, так называемых, «мартовских социалистов». К счастью и гордости моего Управления, среди ответственных его чинов нашелся только один, который для чего-то в день какой-то рабочей манифестации, фигурировал на улице с большим бантом красного цвета. Невероятно, ему самому впоследствии было странно вспоминать о своей выходке.

Чтобы предупредить нелегальные сборища наших служащих, не дать им вредной для дела возможности жить в стенах нашего учреждения какой-то особой, отдельной от старшего состава жизнью я и решил по собственной инициативе созвать собрание. Выступать в непривычной роли митингового оратора было чрезвычайно неприятно; приходилось делать большое усилие над своей волей и нервами, но раскаиваться в этом мне не пришлось: наше Управление сохранило свою работоспособность и сплоченность до последней минуты, т. е. до окончательного /вторичного/ занятия Киева большевиками в 1919 году проработав здесь, без перемен в его руководящем составе, на пользу больных и раненных русских людей, два года после переворота. Под игом Временных Правителей России, а затем петлюровцев и большевиков. Собрание я ознакомил с происшедшими в Петербурге событиями и призывал, в связи с предстоящими выборами в Учредительное собрание, подготовиться к ним, выбрав, по возможности, сознательно политическую программу той или иной партии. Я не хотел оказывать прямого давления на убеждения и совесть моих сослуживцев, находя, что в стенах Управления не место предвыборной агитации; я только отметил, что сам по своим взглядам примыкаю к программе партии народной свободы /тогда еще эта партия не объявляла себя республиканской/ и что самое главное ко времени Учредительного Собрания — это разобраться в



основном вопросе: за монархию или за республику, в зависимости от чего и строиться уже по программе той или иной партии. У меня было испрошено разрешение на вторичный созыв собрания всех служащих всего нашего Центрального Управления /Иваницкий находился в Ставке Главнокомандующего и по телеграфу одобрил мои шаги/ и устроены по моему адресу бурные овации, которые меня укрепили в надежде, что Красный Крест исполнит свой долг до конца. На втором собрании служащие решили собрать по подписке сумму денег для учреждения в Киевском Университете субсидий в память происшедших событий. Это был единственный случай, когда в собрании выступил упоминавшийся мною ранее студент М.; в нем подозревали скрытого Робеспьера, и когда он просил слова, с волнением ожидали какого-нибудь крупного инцидента. М. не оправдал ожиданий: слегка конфузясь, он пробормотал, что желательно, жертвуя деньги, говорить, чтобы представителя студентов допускались при обсуждении вопроса о распределении стипендий. Больше ни на одном собрании этого «опасного» оратора никто не слышал; его громадный красный бант, очевидно, заставил многих переоценивать его революционную роль. Самое постыдное и обидное лично для меня воспоминание об этой стипендии заключается в том, что когда поднялся спор о наименовании стипендии, я предложил такую редакцию: «От Красного Креста юго-западного фронта в память завоеванной в 1917 году свободы», которая редакция и была принята. В том же роде приветствовал я совместно с одним моим сослуживцем по дальневосточной работе наших местных соратников через Хабаровскую газету «Приамурье». Несомненно, первые два или полтора месяца я ожидал от переворота благих последствий, как и вообще масса русской интеллигенции; за это заблуждение мы заплатили очень дорого, но справедливо: утратой близких людей и потерей родины.

И может быть хорошо, что кара постигла всех нас немедленно за совершением преступления, еще на земле. Искупительные жертвы могут вернуть, если не нам, то нашим детям родину.

Петербургский «Совдеп» служил образцом организации или вернее дезорганизации власти и на местах в самых разнообразных учреждениях. Служащие всей их массой, включая самый низший персонал, избирали какие-то комитеты, которые наблюдали за работающими, управляющими учреждениями и критиковали без всякой ответственности их деятельность и подрывали их авторитет и всякую дисциплину. Эпоха Временного Правительства ярче всего характеризуется громадным размножением подобных комитетов и создаваемым ими фактическим двоевластием.

Для меня было определенно ясно, что какой-то коллегиальный орган возникает в составе Краснокрестного Управления; по духу времени это было неизбежно, как неизбежно распространение заразы во время эпидемии. Смотрю на такой орган, как на неизбежное по обстоятельствам времени зло, я находил, однако, что это зло может быть в итоге использовано в интересах нашего дела, если только избежать двоевластия. Поддержанный моим сослуживцем Р., я (Л. 357) стал настаивать на нашем «конклаве» на желательности нам самим, по собственной инициативе, преобразовать

ся в комитет, в котором половина членов была бы прежняя, по назначению Главного Управления, а половина, избранная самими служащими по группам их: от чиновников, сестер милосердия, санитаров, шоферов и рабочих. Некоторые из моих сослуживцев, отчасти и сам Главноуполномоченный относились скептически к моему предложению и, кажется, склонны были заподозреть меня в игре на популярности. Они видели в учреждении смешанного комитета какую-то нежелательную уступку беспокойному элементу служащих и в начале как будто бы склонялись к предпочтению дать событиям разыграться самим своим путем. Но после нескольких заседаний на квартире /в гостинице/ у Иваницкого, последний понял положение вещей и всецело стал на мою точку зрения. Комитет был сформирован нами в виде временного, не выжидая созыва фронтового съезда и санкции Главного Управления. На других фронтах постепенно возникали самостоятельные краснокрестные совдепы, ничего не делавшие, кроме резких выступлений против Главноуполномоченных и чинов их Управлений; последние дезорганизовывались и ко времени развития большевизма были совершенно разрушены, с нашим же комитетом всем учреждениям, в том числе и фронтовому съезду, пришлось считаться, как с единой центральной краснокрестной властью на фронте. Съезду ничего не оставалось, как утвердить «положение о комитете», т. к. он уже включал в себя различных выборных лиц и проявил свою работоспособность.

Лица, вошедшие по выборам в состав коллегиального управляющего органа, не исключая представителей шоферов и рабочих, сразу же столкнулись не с легкой критической только болтовней и демагогией, а с повседневной текущей работой Красного Креста, за успех которой как ее непосредственные участники, они несли равную с нами ответственность. Те акты, например, по отказу платить шоферам бешенные деньги и т. п., которые на других фронтах вызвали резкую демагогическую критику со стороны наблюдающих комитетов, у нас проходили, сравнительно, гладко, ибо, будучи в курсе общего положения дел Красного Креста и его финансов в частности, представители рабочих и шоферов вынуждены были сами своими подписями на журналах комитета (Л. 358) санкционировать подобные акты. Но самое главное полезное значение комитета заключалось в том, что представители низших служащих и рабочих воочию убеждались в нелегкости руководящей работы, а также в опытности и честности старых руководителей ее. Они распространяли в массах сведения о наших служебных качествах, т. е. укрепляли наше положение и влияние, в то время когда толпа увлекалась именно переоценкой всяких ценностей.

С учреждением нашего комитета я больше всего опасался, как бы Иваницкий, по привычке его к самовластному распоряжению в некоторых областях и к откровенной резкости в обращении с ближайшими его сотрудниками, не повредил спокойному течению дел в заседаниях комитета и не обострил отношений, что могло бы повлечь за собою образование другого наблюдающего учреждения, с выходом из нашего комитета выборного элемента. В этом моем опасении, к счастью, я оказался совершенно не прав. Однако, когда Главное Управление Красного Креста

командировало к нам некого Ф., имевшего целью выступать на различных съездах краснокрестных работников для примирения «рабочих с буржуями или интеллигенцией», я на его вопрос о нашем Главноуполномоченном с полной откровенностью, отметив все положительные качества Иваницкого, высказал указанное мое опасение. Ф., по-видимому, говорил об этом моем мнении в различных кругах моих сослуживцев, а, может быть, и самому Иваницкому. Отсюда возникло предложение о моей враждебности к И., как к главе нашего Управления, и стремлении чуть ли не самому занять место Главноуполномоченного. Все это было весьма далеко от моих истинных намерений, но в то гнусное время, которое тогда приходилось переживать, быстро падала нравственность и честность людей, развивались взаимные подозрения, а потому все казалось возможным. Я считал, конечно, ниже своего достоинства опровергать мелкие слухи; впрочем непосредственно ко мне никто ни с какими вопросами по поводу этих слухов и не обращался; все ограничивалось какими-то неопределенными намеками, очень больно бившими по душе. Такие переживания старому режиму не были известны.

Личный состав Главного Управления Российского Общества Красного Креста, до пересмотра его Устава и производства новых выборов, был изменен Временным Правительством в сторону усиления более левого элемента; председателем Главного Управления был назначен, однако, министр старого режима граф П.Н. Игнатьев, пользовавшийся, впрочем, репутацией либерала. Его доброе отношение ко мне началось еще в бытность его товарищем Главноуправляющего Землеустройством. С Иваницким он, как и некоторые члены думы, вновь вошедшие в состав Главного Управления, был также связан ранее возникшими служебными отношениями. При таких условиях, состав высших должностных лиц нашего фронтового Управления, как и следовало ожидать, был переизбран нашим новым центральным органом.

Иваницкий, в связи с создавшимся новым положением, взял себя в руки, и наши домашние, так сказать, столкновения, которые теперь уже имели бы посторонних свидетелей, прекратились. Отношение же его к низшему персоналу оставалось прежнее, так как в сущности изменять его и не приходилось; даже приказ, воспрещавший говорить солдатам «ты» не коснулся Иваницкого, так как он всегда ко всем, не исключая вестового, обращался на «вы». Старший состав медицинской части и управляющий складами Евреинов ни в малейшей мелочи своего служебного поведения не подчеркивали какой-либо разницы в их «революционном» отношении к подчиненным по сравнению с прежним «старорежимным». Представитель Государственного Контроля Д. Скоро оставил службу на фронте, но ни разу ни в чем за время его нахождения здесь не изменил своим привычкам и манере держать себя, весьма далекой от какого бы то ни было демагогизма; получив приказ о замене «ты» обращением на «вы», он поздравил к себе горячо-любимого вестового санитаря и нервным раздраженным дрожащим голосом, держа в руке печатный листик приказа, объявил солдату, что вот, мол, начальство требует, чтобы «я тебя называл вы; понял.

Я не имею права говорить тебе ты, так ты уж на меня за это не обижайся». Солдат, искренно привязанный к Д., прослезился.

В заседаниях Комитета все старались вести дело так, чтобы не давать повода «выборным товарищам» пойти по пути разрушения краснокрестного дела на фронте; на мелочи, чрезвычайно иногда противные, закрывали глаза, жертвуя ими главным задачам нашим и целям — сохранить запас и работоспособность учреждений. Вопреки моим опасениям, именно Иваницкий умел как-то искусно обходить подводные камни, и именно я, опасавшийся с его стороны отсутствия для этого выдержки, постепенно становился раздражающим выборных представителей элементов. С ними, действительно, требовалось иметь в запасе много хладнокровия и самообладания. Происходившие на фронте события, наглядно уже подтверждавшие его постепенное разрушение, нелепые требования об увеличении окладов, особенно со стороны таких циников революции, как шоферы, об оплате расходов по различным «товарищеским» командировкам и сборищам и т. д., и т. д. — все это не могло не действовать на нервы.

Первое мое столкновение в комитете произошло на почве моего пожелания, в связи с недостатком средств, сокращать лазареты для солдат и усиливать специально офицерские госпитали; пожелание свое я высказал с демонстративными целями, так как накануне было получено донесение о гибели и ранении массы офицеров на галицийском фронте, при позорном бегстве солдат. Член комитета от шоферов Исаев совершенно изменился в лице, побледнел и, злобно смотря на меня, заявил: «требую, чтобы слова г. Романова, как оскорбляющие русский народ, были занесены в протокол полностью со включением настоящего моего заявления». Необыкновенно характерен этот эпизод для нашей бывшей подпольной революционной среды в связи с последовавшими событиями в жизни названного мною защитника народной чести. Исаев, занимая у нас должность шофера, обнаруживал в комитете сравнительно порядочные деловые знания и некоторое образование. В общем он держал себя тактично, не потакал разнузданным требованиям его товарищей по шоферской работе, всегда поддерживал меры, направленные к разумному расходованию и накоплению денежных и материальных средств Красного Креста; говорил обычно спокойно, вежливо, с акцентом семинариста на «о» и выступал с горячими заявлениями только тогда, когда, по его мнению, что-либо с нашей стороны угрожало «великим завоеваниям революции». Для дела он был полезен, так как пользовался авторитетом в среде своих избирателей. Когда начались признаки усиления на фронте большевизма, он очень скорбел по поводу поругания «чистых идеалов социализма». (Л. 361) Однажды, накануне заседания комитета, он, беседуя с доктором Чириковым об усилившемся дезертирстве солдат, сказал в раздумье «чувствую, что и мне пора дезертировать». На вопросы почему, куда, отвечал: «о, совсем далеко!» На другой раз, когда мы собрались в кабинете Иваницкого, вбежал в комнату вестовой и что-то испуганно прошептал на ухо одному из наших докторов; последний быстро вышел из комнаты. Я расслышал только слова: «выстрели в рот». Исаев «дезертировал» — застрелился в нашем Управлении.

Его торжественно хоронили; считалось, что он погиб, как убежденный социал-демократ меньшевик, видя приближение победы большевиков. Всякий, идейно жертвующий своей жизнью человек, возбуждает сочувствие, если даже не разделяешь его взглядов. Поэтому все мы были на него отпевании; на гроб его был положен венок от нашего Управления. Не пришла на его похороны только рабочие, впавшие уже в большевизм. Прошло несколько недель; В.Е. Иваницкий попросил меня как-то к себе, протянул книжку Бурцевского журнала «Былое», показал на портрет, под которым стояла надпись, кажется, «Бурдзинский» и спросил: «узнает?» Это был наш Исаев — один из главных провокаторов, как гласила дальше надпись под портретом, работавший под фамилией «Исаев», сын священника, десятки лиц своей работой отправивший на каторжные работы.

Нам, чиновникам «старого режима» впервые приходилось сталкиваться, совместно работать с этой грязной средой революционного подполья, где никто никому не мог верить, где какая-то «Шерлок-Холмсиада» считалась идеалом человеческих интересов. Я до сих пор не могу понять, каким искусством и напряжением воли достигал этот бывший революционер, а потом провокатор, умения вовремя побледнеть, как в том случае, когда он меня обвинял в оскорблении народа.

В Комитете нашем особенно тяжелы были дни Корниловского выступления. Не верилось в продуманность плана Корнилова, а, вместе с тем, сознавалось, что это несомненно последняя попытка дать нам победу над внешним врагом. Глубокий патриот Корнилов тогда был единственной надеждой всех тех, кто думал о родине, а не о своих мелких классовых интересах и животных потребностях данного дня. Выборные потребовали в комитете, чтобы нами был опубликован по всем нашим учреждениям какой-то протест по поводу контрреволюционной «авантюры». Удалось в конце концов добиться компромисса, рассылкой довольно бледного циркуляра по нашим учреждениям в том смысле, что мы не сомневаемся в верности всего нашего состава в переживаемое нами смутное время, Временному Правительству. Редакцию циркуляра, по поручению комитета, выработывал я с Исаевым, который не в общем заседании, а наедине со мною был очень податлив.

Избрание в Петербурге «бабушки русской революции» Брешко-Брешковской попечительницей Общества Красного Креста тоже могло послужить поводом для разрыва отношений в нашем Комитете. Мы неизменно старались внушать выборному составу аполитичные человеколюбивые начала Женевской конференции; с точки зрения этих начал «товарищи» не могли протестовать против назначения, например, б. Киевского губернатора гр. А.Н. Игнатьева представителем Красного Креста при собой армии. Мы отстаивали ту точку зрения, что о революционности или контрреволюционности в Красном Кресте не может быть речи, поскольку каждый данный деятель осуществляет только то, что предугазано Уставом Общества, построенным на началах Женевской конвенции. С этой точки зрения мы лишены были права отклонить предложение наших выборных приветствовать Брешковскую по поводу ее избрания; это было бы равно-

сильно подрубанию корней у того дерева, которое мы так бережно поддерживали. Однако, сознание, что эта старуха фактически никакой пользы делу Красного Креста, как и вообще никакому делу, которое требует не слов, а работы, принести не может, что ее избрание является только данью демагогизму переживаемого времени, не могла не угнетать нас. Пришлось опять-таки идти на компромисс и стараться получить возможно более сухой текст приветствия, чего и удалось добиться.

У меня лично наиболее острые отношения возникли с шоферами. Большинство их и в мирное время представляет из себя типичных хулиганов. Пройдя автомобильные курсы, эти полуграмотные люди начинают считать себя интеллигентами. Отсюда обычная их резкость и грубость, а часто и просто хулиганизм. Во время революции хулиганство шоферов, прикрываясь громкими фразами о равенстве, братстве и свободе, немедленно распустилось махровым цветком. Все «революционные завоевания», как, впрочем, впоследствии и в других массах, развращенных лозунгами большевизма, в представлении шоферов претворялись в право получать возможно больше денег и возможно меньше работать. Не говоря уже о тех, которые попадали по выборам в совдепы, и остальные при первой возможности уклонялись от работы, иногда даже по весьма находчивым, но в той же мере и циничным, основаниям. Например, когда Киев обстреливался большевиками, шоферы отказывались выезжать за ранеными, ссылаясь, что Красный Крест аполитичен и не может принимать участия в гражданской войне; это не мешало тем же шоферам удирать от большевиков, дабы они не заставили их работать. Содержание шоферов всегда было относительно высоко, особенно, если принять во внимание, что отбывая воинскую повинность, они в сущности могли бы довольствоваться обычным солдатским жалованьем. Работы у них всегда относительно было мало, так как продолжительные поездки по фронту не были часты, городская же езда не была утомительна, давала достаточно времени для отдыха и даже развлечений. Тем не менее шоферы первые потребовали реализации революции — прибавки им жалованья и установления каких-то особых льготных расписаний их выездов. К сожалению, лицо, стоявшее во главе дела, не имело мужества бороться с требовательностью шоферов; наоборот, поощряло их хулиганствующее «самоуправление». Это была одна из прекраснейших подробностей в работе нашего Управления в смутное время. Я систематически возражал в Комитете при всяком испрошении прибавок к жалованью шоферов; они знали об этом и не любили меня. Во время начавшегося развала, ко мне даже раз ворвалась в кабинет группа шоферов, предводимая их представителем Соловьевым, с револьвером в руках; я накричал на них и прогнал, и они, как все только внешне храбрые люди, быстро исчезли. Соловьев до войны был шофером у Великого Князя Кирилла Владимировича и Военного Министра Сухомлинова; при наших поездках он любил вкрадчивым, противно подобострастным голосом, рассказывать различные подробности о поездках с этими высокими особами. Иногда, встречая на улице мою жену, он подкатывал к панели и льстивым голосом спрашивал «не подвезти ли вас? Я сейчас свободен». Вероятно, удивлялся

систематическим ее отказам, так как мы смотрели на казенные автомобили не так, как «земгусары», деятели революции и т. п. и не обращали их на личные надобности, за что в армиях автомобиль получил меткое название «сестрокат». Этот лакей Соловьев, как и многие другие ему подобные товарищи, воспринял одним из первых большевизм, как способ личного обогащения. Кончил он тем, что был, конечно, каким-то комиссаром, пока не растерзала его на куски толпа крестьян, кажется, в Василькове.

С одним из шоферов — Стенчиковым, который обслуживал мой личный служебный автомобиль, у меня вышло столкновение такого рода. Я по личному делу должен был побывать у одного сослуживца на даче в Святошине, верстах в десяти от Киева; провел я у него часа два и когда выходил из усадьбы, ко мне подошла горничная и сказала, что шофер мой, ожидавший меня на шоссе, предупреждает меня, чтобы я был на месте не позже, как через десять минут, иначе он уезжает в Киев. На обратном пути я спросил Стенчикова, говорил ли он действительно то, что передала мне горничная. Он отвечал утвердительно, на что я ему, объяснив, что он военнообязанный и должен соблюдать дисциплину, в конце концов заявил: «неужели вы не понимаете, что сделанное вам — признак хамства». Надо сказать, что я пользовался автомобилем в исключительных случаях, стремясь всемерно беречь бензин, тогда уже довольно дорогой. Когда никуда не надо было спешить — ходил пешком. Это было известно Степанчикову, и тем, конечно, несправедливее и наглее был его поступок. Вместо того, чтобы подвергнуть его какому-либо дисциплинарному взысканию, шоферской начальство, из-за стремления к популярности, ничего не нашло лучше, как передать дело «товарищескому» суду шоферов, так как в деле усматривали «обоюдные обиды» — нарушение Стенчиковым уважения к старшему по службе и оскорбление его мною словом «хамство». Суд шоферов над помощником Главноуполномоченного это было, конечно, нечто новое, порожденное смутой. Так как даже в хулиганской среде было несколько почтенных людей, которые настояли прежде всего на том, чтобы ознакомиться по маршрутным дневникам автомобилей, сколько, куда и когда я сделал поездок, и так как полученные данные весьма сконфузили моих судей, то им пришлось признать, что Стенчиков не имел основания заявлять недовольство по поводу задержки мною автомобиля, а я не имел все-таки (Л. 365) права называть его хамом. В конце концов С. был смещен с пассажирского автомобиля на грузовой, чтобы не подвергать его риску встречи со мною, я же, фактически, автомобилем больше не пользовался, чтобы не портить себе зря нервов.

По стопам шоферов пошли и многие сестры милосердия; солдаты-санитары вели себя гораздо честнее их во время развала фронта. С каждым годом войны состав сестре ухудшался; на фронте появились полуинтеллигентные, но с сомнением особы, под стать шоферам, прослушавшие сокращенные курсы при Общине; они мало походили на основных кадровых Общинных сестре военного времени первых выпусков. Этот элемент по натуре своей был весьма пригодным материалом для стяжательных, эгоистических лозунгов революции; их занимала уже не мысль о милосердном

служении ближнему, а о личных впечатлениях и жизненных удобствах. Эта часть сестер деморализующе действовала и на некоторых менее устойчивых представительниц прежнего режима. По мере развала фронта и свертывания лечебных учреждений, свободные от службы сестры сосредотачивались в резервах, главным образом, в Киеве. Здесь они, в ожидании упорядочения железнодорожного движения и полного удовлетворения их заштатным содержанием, которое, за неимением кредитов, задерживалось, проживали по шесть более месяцев в полном бездействии, пользуясь бесплатными, за счет Красного Креста, квартирами, столом и стиркой белья. Их занятие состояло исключительно в протестах на ухудшение условий содержания, хотя они помещались в хороших зданиях и получали вполне удовлетворительное довольствие. Наш комитет выбивался из сил, чтобы изыскивать средства на содержание многочисленных еще, переполненных ранеными и заразными больными, лазаретов, осторожно с этой целью ликвидировал различные, не имевшие уже значения для лечебного дела, запасы, например, остатки санитарных обозов, железный лом и т. п., оставляя в неприкосновенности все ценное для обеспечения в случае надобности, каковая и наступала во время гражданской войны, продолжения краснокрестной помощи, а резервные сестры, подобно шоферам, считая себя «завоевательницами революции», помышляли только о том, чтобы от разоряемого Государства или из краснокрестных средств вырвать лишний кусок исключительно для себя. Они бессознательно стояли на платформе узкой классовой борьбы: «плевать на общее благо, лишь бы (Л. 366) нам было хорошо». И такая «платформа» исповедовалась без стыда, с сознанием исполняемого «гражданского долга» и не только полуобразованными сестрами, но и так называемыми «интеллигентами». Я не могу забыть выражения лица, жестов и патетических слов одной казанской курсистки — резервной сестры милосердия, которая от имени «угнетенных сестер милосердия» держала речь в нашем Комитете, требуя «каких-то материальных улучшений от имени свои товарищей. Это была одни из пошлейших сцен в первый год нашей смуты. Высокая, с неглупым лицом девушка, от которой хотелось бы слышать горячие речи на тему о самопожертвовании, о долге, о работе для смягчения тяжелых условий жизни, наступающих для русского народа, говорила с пафосом о мелких, ничтожных нуждах тех, кто абсолютно ничего полезного обществу не делал, и требовала усиленного вознаграждения за пошлую работу во время войны, забыв, как еще год тому назад ее «товарищи» домогались звания сестры, лишь бы попасть на войну и помочь «идейно» страждущему русскому воину.

Когда в Петербурге стал побеждать большевизм, к нашим сестрам пришла оттуда некая княгиня Оболенская, дочь известной в Киеве директрисы гимназии Жекулиной, и принялась усиленно смущать наши резервы рассказами о столичных окладах и о необходимости бороться за улучшение своего материального положения.

Для нашего мужика, рабочего, шофера, в виду их безграмотности, простительно было думать, что при минимальной работе и максимальном за-



работке удастся долго благоденствовать, но интеллигентная курсистка и ей подобные не могли же не понимать того, что ожидает страну, в которой труд отсутствует, а плата за бездействие растет. Провидение быстро покарало за такое безумие русских людей, переживших теперь небывалые ужасы голода и даже людоедства, при полном отсутствии той свободы, именем которой покрывались чисто животные эгоистические требования. Но тогда, в начале смуты, мы не знали размеров ожидавшей их кары, не могли жалеть безумцев, и они возбуждали только чувство злобы и по поводу их тупого эгоизма, и по поводу нашего бессилия направить их на путь истины. В заседаниях Комитета при разговорах с различными «представителями» и «представительницами» у меня делалось такое злое выражение лица, что иногда Иваницкий подталкивал меня в бок, и, в конце концов, я предпочел замолчать, чтобы не дезорганизовать дело, которое все-таки было важно, как для помощи долечивающимся массам офицеров и солдатам, так и для будущего времени, когда каждая медико-санитарная крупница оказалась драгоценной, ибо наступавшие события на внутреннем фронте отличались небывалой кровожадностью людей и беспощадным развитием эпидемий.

Удержав в своих руках руководство делом, мы достигли того, что почти невозможным оказалось на других фронтах — сохранили наши богатые запасы-склады; разграблено было только, как и следовало ожидать, автомобильное имущество, за исключением, сравнительно, незначительной части машин, да часть провинциальных складов, например, в Кременчуге и Лубнах.

Но я забежал несколько вперед; возвращаюсь ко времени учреждения нашего комитета.

В период его формирования и в первые месяцы его работы, до того, как был созван в Киеве фронтовой съезд представителей всех подведомственных нам учреждений, начались митинги краснокрестных работников с Киева, где помимо нашего Центрального управления находилась масса различных общественных и частных лазаретов. На митинги собирались врачи, сестры и шоферы и, главным образом, многочисленные солдаты санитары. Первое такое митинговое «общее собрание» краснокрестных работников Киева состоялось в помещении кинематографа на Крещатики, а затем несколько собраний было в одной из больших аудиторий Университета. Я понимал, что в случае отсутствия в таком собрании высших руководителей — «начальства», там начнется зародыш двоевластия: будет безответственная критика без объяснений и ответов с нашей стороны и в результате образуется какой-либо наблюдательный Комитет, который в конце концов съест наше Управление. Так вскоре и произошло, например, на западном фронте, где в роли Главноуполномоченного, вместо А.В. Кривошеина появилась женщина-врач, отправленная нашей медицинской частью в Минск, еще до государственного переворота, для лечения, в качестве душевнобольной. Я объявил Иваницкому, что буду посещать с указанной целью все митинги и он одобрил это мое намерение, давшее нашему делу, несомненно, полезные результаты.

На первом собрании президиума избирался так сказать, по куриям (Л. 368) от чиновников, врачей санитаров, и т. д. От первых в президиум был избран я. Теперь все пережитое на наших митингах кажется чем-то более смешным, чем трудным, но когда ясно восстанавливаешь в своей памяти все подробности, то сознаешь сколько было затрачено на это нервной энергии. Мне, привыкшему, главным образом, к кабинетной работе, к сотрудничеству с людьми, которых я мог уважать, уже самое пребывание мое на каком-то возвышении у экрана кинематографа, в пальто, зимней шапке, среди кричащей внизу толпы, не могло не быть тягостно во всех отношениях.

Среди «революционных» ораторов сразу же выделилось два: упоминавшийся мною ранее проф. Березниговский и какой-то санитар не русского типа, со странным южным выговором, по-видимому, кавказским. Профессор свою роль понял просто: как недавно еще милости зависели от Августейшей Покровительницы нашего Общества, а следовательно надо было настойчиво добиваться посещения госпиталя Государыней, так теперь успех службы зависел, в представлении этого лакея течений, от толпы: надо было угодить ей. Поэтому, зная инстинкты толпы, любящей все красочное и громкое, В., забыв о недавнем прошлом, с первого же своего выступления, начала не говорить, а кричать, каждую точку в конце фразы, отмечая неистовым ударом кулака по скамье или столу — признак, по многим моим наблюдениям, ораторов скверного тона, но искренних демагогов или глупых. Сущность разнообразных заявлений В. сводилась к одному излюбленному им припеву: «тиран Николай II кровавыми руками цеплялся за свой трон; однако, он уже лишился трона, но этого мало — надо во всех учреждениях убрать представителей старого строя, не желающих добровольно отдать свою власть; надо проделать это и в Красном Кресте и заменить старых руководителей новыми». Что касается «кавказца»-санитара, то смысл его речей, при всем желании, понять было невозможно, настолько она была бессвязна. Я уловил только одну фразу с подлежащим и сказуемым о том, что прежде при встречах с генералами на улицах надо было как-то обходить их и что теперь этого не должно быть, ибо все равны.

И профессор и санитар говорили так громко, с таким внешним волнением, что речи их толпа «товарищей» покрывала криками «правильно» и аплодисментами.

После такой подготовки собрания, началось обсуждение вопроса, которого (Л. 369) я и ожидал, а именно, не следует ли просить прежде всего о замене Иваницкого другим лицом на должности Главноуполномоченного. Выступал, большей частью, ряд неизвестных мне лиц, которые были посвящены в тайны нашего «конклава», т. е. в ту сторону наших заседаний с Иваницким, когда внешние наши раздоры, вследствие повышенного тона наших споров, становились достоянием низших служащих. Один из ораторов прямо заявил, под неодобрительные по адресу Иваницкого возгласы, что ему известно, как доктора А., после собеседований с И., отливают водой и отпаивают «валерьянкой».

Доктор А., бывший на митинге, немедленно парировал этот удар, направленный против нашего начальника, заявив авторитетным тоном, что подобного случая с ним никогда не было.

Я понял, что настал момент, когда надо спасти положение и испросил слова. Речь ближайшего помощника Иваницкого не могла не интересовать собрание, и меня всегда слушали в полной тишине: враги — в надежде моего провала, друзья — из желания мне успеха, а потому, при всем моем личном отвращении к красноречию, мне было говорить, если и мало приятно, то легко.

Прежде всего, справедливо догадываясь, что свежеперекрасившиеся участники митинга, так называемые «мартовские социалисты», должны именно являться наиболее крайними в своих выступлениях, хотя бы для того, чтобы «реабилитировать» себя в глазах толпы, не говоря уже вообще о черном качестве их душ, я предложил собранию, во избежание проникновения в нашу вреду людей, желающих только ловить для себя рыбу в мутной воде, опрашивать выступающих ораторов о прошлой дореволюционной их деятельности. С этим согласились криками «правильно» — тогда все громко и авторитетно сказанное было «правильно» — и первым заставили ответить меня, кто, мол, я такой. Я сказал: «старый переселенческий чиновник»; заявление это было встречено молчанием — ни одобрения, ни негодования, что уже было козырем в моих руках. Кавказец-санитар оказался бывшим околоточным надзирателем; это смутило его недавних поощрителей. Чтобы исправить положение, внушить к себе доверие, как к стороннику революции, он патетически добавил: «да, но имейте в виду, товарищи, что за гуманное отношение к евреям я имею награду от самого его Пр... т. е. губернатора», закончил он, как-то скомкано. Сильный смех всего зала вывел этого красного оратора навсегда из строя митинговых деятелей.

Когда Березниговский с достоинством ответил на предложенный ему вопрос о его дореволюционных занятиях: «профессор медицины Томского Университета», один видный киевский коммерсант — еврей, с которым мы заранее условились об этом, очень почтительным тоном спросил: «можем ли мы полюбопытствовать, вы профессор по назначению или по выборам факультета?» В. обиженно заявил, что его политическая физиономия достаточно определилась в собрании, почему всякие дополнительные вопросы он считает излишними отвечать на них не будет. Протяжное, разочарованное «у-у» встретило это заявление профессора. Он выступал еще на некоторых наших собраниях, но при выборах на фронтовой съезд был забаллотирован.

Укрепив таким образом наши позиции, я поставил вопрос о том, что именно побуждает собрание стремиться к замене Главноуполномоченного. Все выступления против Иваницкого сводились к порицанию его характера. Я подтвердил перед собранием, как ближайший сотрудник И., что характер его, действительно, весьма тяжел, но при этом выразил изумление, какое дело оратора, выступавшим против И., до его характера, когда они с ним никаких непосредственных отношений не имеют, мы же, ближайшие его сотрудники, никакого недовольства нашим положением

не заявляем и не заявляли. Затем, указав на значение опыта для успеха каждой работы, я высказался в том смысле, что менять руководителей делом можно только при наличии серьезных к тому оснований, бездеятельности или нечестности. На определенно поставленные мною вопросы, может ли кто-либо из присутствующих заявить, что Иваницкий в течение всей войны занимался чем-либо иным, кроме дел Красного Креста, не находился целый день на службе, не разъезжал постоянно по фронту, не брег краснокрестного добра, не вел дела с безупречной честностью — ответом было гробовое молчание. Наш начальник был навсегда освобожден от выпадов по его адресу со стороны митинговых собраний; его служебное положение, а следовательно и порученное ему дело, были укреплены на все время разрушения фронта; в общем хаосе Красный Крест на юго-западном фронте оставался каким-то оазисом работоспособности и порядка. Созванный нашим комитетом фронтовой съезд подвел под наше дело еще более прочный фундамент, так как все руководители делом принимали в нем ближайшее участие, а, главное, сами были инициаторами его созыва. Комитеты Земского и Городского Союзов предоставили митинги и съезды их сотрудников своему течению, дали им возможность выбить инициативу из своих рук и получили в результате почти полный распад руководящих органов и дезорганизацию дела.

Первый день нашего съезда был очень тяжел; физиономии его участников, в преобладающем большинстве солдат-санитаров, была неясна. Иваницкий приветствовал съезд кратким пожеланием успеха работ, и, по моему совету, ушел после этого их заседания, во избежание обвинения, что он оказывает давление своим присутствием на свободу суждений съезда о высшей администрации Красного Креста. Затем произошел, умышленный или без умысла со стороны его виновника, инцидент, поставивший в очень неприятное положение меня. Я и чиновник Г. были избраны на съезд представителями канцелярии Управления Главноуполномоченного. Программу, которую мы должны были отстаивать на съезде на основании пожеланий наших выборщиков, облек в письменную, подробно мотивированную форму я; в ней было две части: одна, подлежавшая оглашению на съезде, касалась существа различных организационных мер управления краснокрестными учреждениями, начиная от высшего их органа на фронте — Комитета под председательством Главноуполномоченного, другая — вроде наказа нам о том, как себя держать, если бы съезд пошел по пути других фронтовых съездов-митингов и остановился на обсуждении вопроса о доверии или недоверии Главноуполномоченному; так как большинство съездов объявляло главноуполномоченных просто не заслуживающими доверия без мотивировки своего постановления, чем в конце концов огульно подрывался авторитет почтенных деятелей старого режима, про которых можно было, на основании глухой формулы о недоверии, распространять какие угодно гнусные слухи, порочившие их доброе служебное имя, я придавал особое значение тому, чтобы наш съезд, в случае, если бы он оказался враждебным Иваницкому, определенно мотивировал свое недоверие желанием иметь во главе дела лицо не из прежней бюрократии, а

с каким-либо подходящим общественным стажем; такой мотивировкой не задевалась бы служебная честь Иваницкого, не подрывался бы авторитет крупных деятелей времен Империи. Это единственное — что нам, чиновникам «старого» режима, оставалось тогда в области личного душевного удовлетворения. В соответствии с поставленной задачей, я в программной нашей записке дал очерк служебных заслуг Иваницкого на разнообразных поприщах его работы, как материал для защиты нашей позиции о недопустимости голого, необоснованного, недоверия нашему Начальнику. Совершенно ясно было, что вторая часть записки со слов: если бы съезд начал обсуждать вопрос о доверии Главноуполномоченному...» не должна была докладываться съезду вообще полностью, но должна была только служить нам, выборным канцелярии, руководством на случай перехода съезда на почву личного вопроса о Главноуполномоченном.

Наш доклад, т. е. первую его часть, должен был огласить чиновник Г., так как мне, занимавшему высокое место в Управлении, не советовали выступать перед сборищем неопределенно настроенных солдат и рабочих. Я отметил на моем докладе место, где Г. должен остановиться и раза три-четыре перед его выступлением напоминал ему о том, чтобы он хорошенько заметил это место и остановился вовремя. Тем не менее Г. не выполнил этого, и громко, с выкриками начал читать описание заслуг И, «на случай, если бы съезд возбудил вопрос о доверии»; получилось впечатление провокации съезда на обсуждение вопроса о Главноуполномоченном. Было известно, что автор записки я, и некоторые, потерявшие веру в людей, видели в происшедшем злой умысел и с моей стороны по мотивам чисто личного свойства. Было очень тяжело и обидно.

К счастью, съезд оказался в весьма деловом настроении и криками протеста заглушил первые же фразы нашего доклада. Г. уверял меня, что это с его стороны была рассеянность. Я должен был поверить и извинить, в душе не имея веры.

Я так обозлился на самую возможность подозрений, что когда представитель Главного Управления Ф. спросил меня по поводу происшедшего: «скажите откровенно, вы провоцировали съезд?», я ответил «да», чтобы только прекратить несносный разговор.

Избранный съездом председатель, доктор П., оказался совершенно неопытным в руководстве большим, разношерстным собранием; поэтому первый день съезда прошел сумбурно, но сразу, однако, (Л. 373) судя по отношению к персональному вопросу о Главноуполномоченном, определилось его чисто деловое настроение. Представитель Главного Управления Ф., о котором я упоминал выше, говорил на злободневную тему о том, что русская интеллигенция и буржуазия не одно и то же, что нельзя убивать людей только за то, что они в крахмальном белье с галстуком, что так пришлось бы убить и декабристов, которые принадлежали к дворянскому сословию и т. п. Ф. имел невероятной звучности голос, говорил необыкновенно быстро, причем, когда у него не хватало каких-либо слов или тему, его гортань продолжала издавать какие-то звуки чисто механически, так, что издали казалось, что заминки нет. Поэтому, несмотря на чрезвычай-

ную сумбурию его речей, частое повторение в начале каждой отдельной фразы совершенно бессмысленных слов: «о том» и т. п., он имел большой успех у солдат-санитаров, и, сходя с кафедры, попадал в объятия их представителей, с которыми троекратно взасос лобзался. Все это было в общем чрезвычайно глупо, но из двух зол глупость было все-таки лучше разрушения. После говорили прибывшие из Петербурга какие-то «товарищи» Главного Управления. Они, несмотря на демагогизм их обращений к съезду не могли сбить съезд с делового пути. Неудачный председатель был заменен чрезвычайно энергичным, находчивым и объективным, впоследствии расстрелянным большевиками, доктором Шевандиным — начальником большого хирургического госпиталя, и под его руководство был обсужден и принят ряд полезных для дела решений, совершенно аполитичных, преимущественно определявших подробности заведывания краснокрестным делом на фронте и в армиях, в связи с изменившимся политическим и стратегическим положением. Против Иваницкого и ближайших его сотрудников не было сказано ни одного резкого слова. Толпа, каковой в сущности являлся спешно выбранный в армиях и в тылу краснокрестный съезд, состоявшая в массе ее из солдат и рабочих, впитавших в себя уже широко идей народовластия или вернее совдепов, комитетов, митингов и т. п., не могла ни в чем упрекнуть нас — чиновников «старого режима», во главе с заслуженным членом государственного Совета и сенатором Империи, который, благодаря своим постоянным разъездам по армейским районам, был широко известен массе краснокрестных служащих, в том числе и солдатам-санитарам. Нам в деловом отношении доверяли «не постольку поскольку», а вообще, но какая-то болезненная мания, овладевшая населением под влиянием преступно-демагогической агитации Центрального Совета солдатских и рабочих депутатов, существовавшего попустительством и бездарностью Временного Правительства, побудила и наш съезд, при выработке политической резолюции, принять большинством голосов трафаретную формулу о доверии этому несчастному правительству, на верность которому все на днях еще присягали, «поскольку деятельность его согласуется с пожеланиями Всероссийского Совдепа». За эту формулу голосовали не только санитары, шоферы и т. п., но и значительная часть врачей, чиновников, настоящих сестер милосердия, того самого элемента, который сознательно ненавидел большевизм и должен был бы понимать, что последний представляет из себя нечто иное, как логическое развитие идеологии тогдашнего Центрального Совдепа. Я случайно не был в заседании съезда при голосовании политической резолюции; когда я вошел в зал, я был окружен толпой взволнованных кадровых сестер милосердия, просивших меня открыть сбор подписей под протестом против резолюции съезда; они указывали, что для многих голосовавших за нее вопрос был неясен. Наш протест был, кажется, приложен к журналам съезда, но точно судьбы его я сейчас не помню. Мне приходилось по этому поводу беседовать также с санитарями нашего Управления, и они утверждали, что дали свои голоса за общую резолюцию только потому, что так уж все теперь на различных съездах и собраниях поступают.

Эти самые санитары сохраняли в нашем Управлении полную дисциплинированность и добрые отношения с нами до конца совместной службы, даже после большевистского переворота. Помню, какое впечатление на генерала Маврина, уже уволенного в отставку, произвел мой бравый вестовой Закота; заслуженный генерал ожидал, очевидно, в нашем Управлении увидеть картину обычного для того времени развала; когда Закота доложил мне, что меня желает видеть Маврин, я быстро сказал: «просите», и пошел на встречу ему к дверям кабинета; я услышал в коридоре громкий голос Закоты: «пожалуйста, Ваше Высокопревосходительство»; затем дверь моего кабинета широко распахнулась, Закота вытянулся во весь свой большой рост, пропуская генерала, нашего еще недавнего высшего начальника; последний уже слегка забытый, преследуемый, как и большинство честных исполнителей своего военного долга, был, видимо, сильно взволнован неожиданным зрелищем прежнего порядка. Закота был свобододлюбивый хохол, любил на свободе сильно выпить, на службе никогда не заискивал, а дело свое делал просто из чувства долга; он много помогал всем моим сослуживцам при посадке их вагоны, когда поезда находились уже под постоянным анархическим натиском «товарищей». Фигурой и авторитетным тоном он им сильно импонировал. Никаких замечаний не по службе, в особенности от равных себе, он органически не выносил. Как-то при большевиках уже, он переносил под вечер тюк с каким-то имуществом Красного Креста; на улице он был остановлен строгим окриком какой-то власти: «товарищ, что несешь?» Закота обозлился и крикнул, продолжая свой путь: «тебе какое дело? Вкрал и несу, вкради ты и ты понеси». Власть растерялась и даже не пыталась остановить столь независимого «вора», а, впрочем, может быть тогда еще кража признавалась большевиками доказательством политической благонадежности. Прочие наши санитары, подобно Закоте, при всех переживаниях нашего Управления, бросавших его, после временных правителей, то под власть большевиков, то украинских банд, всегда были на стороне наших интересов.

Если в жизни нашего учреждения отражалась частица общих российских событий и явлений, то нельзя лишний раз не убедиться, как неумело вело себя наше Временное Правительство, свободно допуская разложение крестьянской среды грабительскими лозунгами и опираясь в своей деятельности не на эту среду, а на разные городские уголовно хулиганские отбросы, преимущественно не русские; не то же ли самое в миниатюре произошло бы и в Красном Кресте юго-западного фронта, если бы мы шли по пятам различных шоферов и рабочих?

В середине лета 1917 года я совершил свою вторичную и последнюю поездку в Петербург; по странной случайности судьбы, как и при первом моем посещении столицы, за время войны, я и на этот раз был свидетелем уличных беспорядков со стрельбой — это были дни первого вооруженного выступления большевиков. Вся полнота власти принадлежала Керенскому: он был и Председателем Правительства и Верховным Главнокомандующим; поэтому нельзя было удивляться, что (Л. 376) большевики чувствовали себя уже почти господами положения. 3 июля я был в помещении

Главного Управления Красного Креста на Инженерной улице, когда меня позвали к окну показать большевиков: непрерывными рядами шли вооруженные матросы, прибывшие из Кронштадта. Это были уже не те рабочие, которые манифестировали в первые дни после переворота; этим людям уже было внушено чувство злобы; по искаженным, обезображенным одним этим чувством лицам видно было, что они принадлежали людям, от которых ушло все божеское: на долгие годы они делались способными только убивать ближних своих и самим умирать за это право убийства. Через час-полтора после мирного шествия «красы и гордости русской революции» улицы огласились трескотней пулеметов. В это время в усадьбе гр. Шереметьева на Фонтанке, происходили заседания съездов краснокрестных представителей всех фронтов. Хотя председательствовал наш доктор Шевандин, но он уже был здесь как-то безличен, съезд был наводнен ораторами подполья, вылезшими на Божий Свет после революции, частью прибывшими из-за границы. У меня в памяти осталось несколько отвратительных физиономий типичных фанатиков-утопистов, невежественных и неестественно-вдохновенных в своих речах. Большинство съезда требовало каких-то перемен в составе Главного Управления, назначенном Временным Правительством, но в общем в остальных своих пожеланиях было довольно скромно, и, что курьезно в высшей степени, горячо отстаивало автономию Красного Креста от поползновений на нее со стороны, конечно, не Царского, а Временного Правительства. Поход последнего против общественных санитарных организаций, в том числе и против Союзов Земства и Городов это нечто юмористически-превосходное. Для защиты наших прав мы, т. е. представители Красного Креста и Союзов отправились в Ставу Верховного Главнокомандующего, где было созвано особое совещание по нашим делам, но пока я должен закончить мои последние столичные воспоминания.

В сельскохозяйственном клубе я в последний раз в жизни обедал с некоторыми из моих друзей; когда через день я направился туда, я был остановлен стрельбой: оказалось, что толпа большевиков-грабителей ворвалась именно в этот клуб и убила его буфетчика. Все разговоры в клубе были сосредоточены вокруг большевизма; в столице никто не верил, что его удастся изжить при таких правителях, как Керенский; однако, никому, видимо, не приходило в голову, что час победы большевизма так близок. О большевиках рассказывали разные анекдоты, относились к ним, скорее, как к забавным клоунами или типам Максима Горького. Довольны были, что какой-то казак устроил скандал на погребении убитого тогда на улице студента-большевика; кричал на могиле: «не позволю хоронить это падло», после чего один сражался с тридцатью большевиками, избив их нещадно и попав под арест с несколькими сломанными ребрами. Рассказывали, как какой-то пожилой чиновник отправился к дому балерины Кшесинской, с балкона которого Ленин говорил тогда свои речи против войны и капитализма; проталкиваясь через толпу он приговаривал: «не, покажите мне хотя бы одного большевичка; ни разу не видел их». На вооруженную манифестацию большевиков смотрели только, как на эпизод; когда трещали



пулеметы, свистали пули над «Летним Садам», там на скамейках сидели невозмутимые петербуржцы за обычным своим отдыхом, с газетами в руках; никто даже не оборачивался в сторону выстрелов; удивляться чему-нибудь считалось у нас, столичных жителей, признаком дурного тона; недаром, во время различных уличных манифестаций, излюбленным местом одного из наших министров бывала тротуарная тумба на Невском Проспекте, с которой он наблюдал за ходом событий. Недаром В.Н. Коковцов даже не вздрогнул, когда рядом с ним револьверным выстрелом был убит на ст. Харбин японский премьер. На большевизм в моей среде смотрели легко сравнительно, потому что в представлении людей порядка усмирить большевиков энергичными и разумными мерами в самом начале его проявления было так же легко, как разогнать в 1905 году совет рабочих депутатов; в продолжительность власти Керенского не верилось и думалось, что его скоро заменит более государственная и опытная власть, тогда еще никто не предполагал, что Керенский близко связан с большевиками и предпочитает передать власть им, чем кому бы то ни было другому.

В моем ведомстве в качестве уже его главы, фиглярничал такой грязный человек, как Чернов; в министерство я официально не являлся поэтому, а беседовал лишь частным образом с некоторыми моими сослуживцами. От них я узнал, что этот «министр» на службе (Л. 378) почти не бывает, а когда изредка приезжает в министерство, то сидит обычно на столе, почти не выслушивая никаких докладов; время проводил он в пустословии, на митингах, очевидно, пережевывая на все лады куцую темку своих статей о роли крестьянства в революционных движениях. Поразительно, как социалистическая партийность принижает людей не только нравственно, но и умственно: поговорите с нашими «эс-эрами» и они вам будут убежденно говорить, что Чернов значительно умнее и авторитетнее, но менее только сердечен, чем Керенский; прочтите затем черновские «писания», вдумайтесь в их ничтожество и мелочность; после этого вам станет совершенно ясным, какими умственными запасами обладал кратковременный правитель России Керенский — раз он еще глупее Чернова, по признанию самих «эс-эров». В душе я считал себя совершенно свободным от службы по ведомству земледелия со времени появления на правительственной арене таких типов, как Чернов; представляться ему или его ближайшим сотрудникам, при посещении мною столицы, мне даже и в голову не приходило, не подавал же я в отставку потому, что надеялся, что вся эта нечисть — временная, скоро проходящая. После провала Временного Правительства я был уволен большевиками от государственной службы совершенно механически, во время всеобщей забастовки чиновников.

В этот мой приезд я повидался, между прочим, и с моим братом, с которым не встречался с начала войны. Перед войной он занимал должность юрисконсульта Министерства юстиции; министр И.Г. Щегловитов почему-то недолюбливал его, но это не мешало ему, в силу личных служебных качеств и значений, делать быструю карьеру; во время войны, далеко не достигнув еще сорокалетнего возраста, он был уже назначен прокурором Виленской судебной палаты; по неизвестной причине, при Времен-

ном Правительстве, он, единственный из всех прокуроров палаты, не был уволен и вскоре получил назначение в состав Верховной Следственной Комиссии, на правах ее члена, по расследованию преступных действий членов и высших сотрудников прежнего Императорского Правительства. Кроме него, из представителей старого служебного состава, членом Комиссии был Смиттен, бывший прокурор Харьковской Судебной Палаты. Это была, как бы дань со стороны Временного Правительства требованиям беспристрастия и судейского опыта; весь остальной состав Комиссии был образован из врагов старого режима: социалистов, кадет и озлобленных евреев. Председателем Комиссии состоял большевик Муравье, Московский присяжный поверенный, безнравственный, аморальный демагог, скрывавший до поры до времени свой большевизм.

Работам Комиссии и выводам из них посвящены обстоятельные очерки, опубликованные уже в печати, моего брата и следователя Руднева. Тем не менее, я не могу не сказать нескольких слов и о моих личных впечатлениях от этого учреждения, чрезвычайно характерного для нашего революционного правительства и в особенности для его вдохновителя Керенского.

Было странно неприятно видеть суетливые фигуры людей — злобных, предвзятых врагов всего, что работало при старом режиме на пользу государства, в дворцовых комнатах Императорского Эрмитажа, сохранявших стильную обстановку, придворную прислугу и вообще известное величие, присущее помещениям, в которых или близ которых имели долгое пребывание монархи. Брат познакомил меня с председателем Муравьевым, и последний представил для меня самое гадкое явление из всего доселе мною виденного в революционном мире, нечто, что сразу же возбудило неприятные чувства по первым чисто внешним. Изящно одетый, аккуратно причесанный, с явно выраженной на всех его чертах лица и манерах привычкой удобно и весело жить, этот «защитник народных интересов» яко, одним словом, внешним видом подчеркивал, что цель «великих потрясений» для большинства вождей — грабеж, что никакие нравственные идеалы не доступны чисто животному мирозерцанию их. Я видел, как этот истинный по его душе хам развалился сладострастно в удобной дворцовой коляске и поехал куда-то в рабочее собрание клеветать на работников старого режима, — и я не помню, чтобы какая-нибудь другая фигура революционного времени оставило во мне более гнусное впечатление.

(Л. 380) Рассказанное мне братом о постановке и ходе дел в Комиссии привело меня в полное изумление, смешанное с отвращением. Временное Правительство было частью так наивно, частью так подло /персонально в этом сейчас разобраться трудно/, что одни из его членов верили, а другие делали вид, что верят в возможность успешной постановки уголовного преследования министров и других должностных лиц империи. Если бы Временное Правительство не считало или не хотело бы считать их уголовными преступниками, то никогда оно не рискнуло бы, дорожа своей репутацией, пригласить громадный штат настоящих судебных следователей для производства настоящих предварительных следствий на основании действующих уголовных законов. Было бы последовательно и не бесчестно,

если бы новые правители России, в силу их республиканских убеждений, приняли те или иные меры предосторожности против влияния их видных врагов — приверженцев монархического строя. Было бы понятно, если бы Горемыкины, Щегловитовы, Штюрмеры и проч. были бы высланы, например, за границу; это было бы актом острой политической борьбы, но не актом тупой глупости или подлости.

Само собой разумеется, что никакой уголовщины в деяниях Царских чиновников не было найдено, и сверх-подлость Муравьева заключалась в том, что это не мешало ему кричать в солдатско-рабочих собраниях относительно обнаруживаемых Комиссией преступления и о беспощадной каре, которую понесут преступники.

Стороны, по их деловым и нравственным качествам, были не равны: судьи имели растерянно злобный вид, обнаруживали беспокойство, свойственное людям невежественным и с нечистой совестью, а подсудимые были вооружены большими знаниями и чистой совестью, почему были совершенно спокойны, часто остроумны и подавляюще действовали на их судей.

Только один Белецкий, б. директор департамента полиции так извратил свою душу постоянным соприкосновением с нашими подпольными утопистами, что изыскания в стиле Шерлока Холмса затмевали перед его умственным взором действительные интересы, для всех же остальных подсудимых, при тех или иных естественных человеческих недостатках или слабостях, родина и честное служение ей были в жизни самое главное. И не думаю я, чтобы П.Н. Милюков чувствовал (Л. 381) себя хорошо, когда ему пришлось дать Комиссии отрицательный ответ на вопрос, имеются ли в его распоряжении определенные материалы, подтверждающие государственную измену Штюрмера. Все-таки, как-никак прокричать на весь мир во время опаснейшей для своей родины войны об измене первого министра и потом узнать, что именно он противился несвоевременному и невыгодному для нас выступлению неготовой еще к войне Румынии — это для мало-мальски совестливого человека-гражданина довольно зазорно. Я прекрасно помню, из моих собеседований в Следственной Комиссии, что этот интереснейший эпизод был предметом ее суждений, и не понимаю, почему он опущен в печатных воспоминаниях моего брата.

На мой естественный недоуменный вопрос, после первых впечатлений от Комиссии, почему брат не бросает службы, он объяснил мне, что его и сенатора Смиттена участие, с правом решающего голоса, в составе Комиссии ограждает все-таки интересы подследственных лиц, а кроме того полезно для собирания и объективного освещения материалов, имеющих несомненное историческое значение. Теперь, когда судьба этих материалов неизвестна, для меня ясно, что чиновники старого режима, жертвуя своими нервами и знаниями для работы Комиссии, были правы. Кроме того, кто мог бы правдиво рассказать обо всем происходившем в этом учреждении, не будь случайно в нем старорежимных представителей? Ведь для членов Временного Правительства работа Комиссии, по ее способам и результатам, это такой позорный аттестат, что никто из них, никогда, без сомнения, и словом не обмолвился бы даже о самом существовании

подобной комиссии. Она, действуя законно, должна была бы прекратить судебное преследование не только против столь видного представителя старого режима, как И.Л. Горемыкин, который, как известно, был оставлен на свободе, но и решительно против всех тех, кого держали в Петропавловской крепости, пока их не поубивали большевики.

Брат поступил, следовательно, правильно, оставшись в составе комиссии до последней возможности. Эта возможность настала для него лишь после того, как он выступил с заявлением, что, по его мнению, Комиссия занимается толчением воды в ступе, отыскивая безуспешно уголовных преступников, в то время, как они давно налицо, и первый из них Керенский против которого может быть возбуждено преследование за государственную измену, так как он, имея документальные доказательства об оплате немцами разрушительной работы на фронте Ленина и Троцкого, отказывается их арестовать и судить, т. е. заведомо поощряет государственную измену.

Самое ценное в материалах Следственной Комиссии, помимо того, что она, без умысла с ее стороны, реабилитировала деятелей старого режима, представляла документы, относящиеся к личности Царя. Уже один тот факт, что Государь, без принуждений, передал в Комиссию всю свою громадную переписку и дневники, лично, вместо того, чтобы все сжечь, приведя их в порядок, проставив на пакетах время корреспонденции и фамилии корреспондентов, уже этот факт не могу не смутить Комиссию: он означал, что совесть Царя чиста, что ему от общества, от своего народа скрывать нечего. Документы Царя тщательно оберегались в помещении Комиссии; я видел сундук с ними, и тогда же у меня было какое-то опасение за их судьбу; по взятии дворца большевиками, мне кажется, они должны были уничтожить эти документы они слишком невыгодны для революционеров.

Изучал эти документы мой брат, человек приступивший к этому с предвзятым, как масса тогдашней нашей интеллигенции, мнением о Царе. С некоторыми данными и выводами он тогда же познакомил меня. Когда я в Киеве передал их покойному Кривошеину, последний был очень взволнован и живо заинтересован. «Мои десятилетние личные наблюдения», сказал он мне, «совершенно совпадают с тем, что говорит Ваш брат», и К., при первом же случае, посетил брата для более близкого ознакомления с его данными.

Теперь имеется уже несколько печатных работ — воспоминаний о Царе и его Семье тех лиц, которые непосредственно знали их. Очерк, например, Жильяра, учителя покойного Наследника Алексея, особенно ценен был в этом отношении, так как принадлежит перу иностранца и проникнут большим неподдельным чувством и живой наблюдательностью. Чрезвычайно важно совпадение того, что рассказывал о Царской жизни очевидец — Жильяр и предубежденный судья-исследователь документов об этом — мой брат. Данные и (Л. 383) очевидцев, и первых исследователей личности Императора Николая II на основании исторического материала будут иметь первостепенное значение для будущих историков и

художников слова именно потому, что они совпадают; это облегчит путь к истине исторической и художественной.

Я, с первых дней знакомства моего с не понятой русским обществом трагедией, путем размышлений, собеседований и чтения, старался дать себе отчет в происшедшем, тем более необходимым для моей совести, что и я, как почти все русские интеллигенты, несколько лет подряд находился под гипнозом кошмарных слов и понятий: «Распутин», «безответственные влияния», «сепаратный мир» и т. п.

Каждый, по мере сил, подходя к этому тяжелому для нашей родины времени, не должен, мне кажется, молчать, обязан высказать, как в его уме и сердце выявились причины Царской трагедии. Из суммы взглядов история возьмет что окажется научно ценным и постоянным.

Вот почему, да будет дозволено и мне сказать несколько слов, какие мысли владели мною уже ко времени падения Временного Правительства и укреплялись во мне твердо после мученической кончины Царя и его Семьи по поводу психологических причин этого тягчайшего несчастья для всех честных людей всего человечества.

Между Царем и русской интеллигенцией, как я упоминал выше, воздвигалась стена, прекращалось взаимное понимание по мере того, как Царь замыкался в себе и своей семье, не доверяя искренности и честности интеллигенции и все более и более проникаясь мыслью, что настоящим носителем заповедей Бога и душевной чистоты, является просто русский мужик. Возле своего престола Царь, за исключением нескольких честных работников, видел или борьбу эгоистических материальных интересов привилегированного сословия или борьбу за власть так называемых общественных деятелей, оппозиция которых даже разумным вообще государственным мерам казалась подозрительной, эгоистической; ни наши либеральные думские органы, ни наша либеральная пресса ни разу не похвалили на одного шага Правительства Царя, все огулом подвергалось критике; Царь не мог верить в ее искренность. Перейдя поэтому психологически на сторону простонародья, Он должен был в отношении интеллигенции оказаться на таком же расстоянии, как последняя от народа. Интеллигенция наша, под влиянием общения с народом Европы и в силу присущей ей талантливости, ушла далеко вперед от, всего полвека тому назад, освобожденного от рабства крестьянина; между нами и мужиком была пропасть; кто уходил психологически всецело к мужику — делался нам чужд, — так, как, например, погиб для нас художник-писатель в лице Льва Толстого, как только он перестал писать в понятных нам утонченно-художественных образах и перешел к упрощенному творчеству для простонародья.

Перестав понимать Царя, как первого гражданина Империи, мы начали оскорблять его как человека-семьянина. Это еще более должно было сделать его замкнутым, далеким от нас. Мы не знали определенно о семейной трагедии в семье Царя /опасной болезни его сына/, но мы знали, что какой-то проходимец имеет при дворе будто бы какое-то значение и влияние. Если совершенно объективно поставить себя в положение Николая II, просто, как человека, разве каждый из нас не замкнулся бы в

себе, хотя бы из простого чувства тягчайшей обиды, которая наносилась ему, как мужу и отцу? Я видел Царя в последний раз в жизни в Киевском Софийском Соборе за несколько месяцев до катастрофы; стеной стояли расшитые золотом мундиры, белые туалеты дам, мимо которых быстро с ледяным, без всякой обычной приветливости, взглядом, прошел Царь с Наследником, на ходу слегка кивая головой. Мы и он были тогда чужими, не понимающими друг друга, как будто бы сотня «барин» встречала не доверявшего им «селяка».

Теперь все знают, какой глубокой любовью и уважением были проникнуты семейные отношения Царя, Он же знал, ценил эти отношения всегда, никогда в них не сомневался и вдруг — грязные намеки на чуть ли не связь с проходимцем Той, возвышенная чистота которой была для него самого, для мужа, вне подозрений. Трагедии Шекспира: «Король Лир», «Макбет», «Ромео», даже «Гамлет» с его мировой печалью — ведь они чрезвычайно мелки, по сравнению с тем, что переживал Царь-мученик, как Царь и как человек. Будущий Шекспир эпилогом трагедии «Царь Николай II-ой» несомненно с полным правом возьмет слова: «Нет повести трагичнее, чем история жизни и царствования русского Императора Николая II».

«Мужицкий» Царь, уравнивший крестьян в правах с прочими сословиями, давший неслыханные до него средства на образование крестьян, такие средства, которые обеспечивали еще при Его жизни всеобщность и обязательность народного образования, отдавший, почти бесплатно, русскому землепашцу богатейшие по качеству и громадные по пространству имения свои на Алтае, никогда не был бы свергнут с престола простым народом. Его отречение, это всецело дело рук и попустительства интеллигенции, для которой «четырёххвостки», полные свободы печати и собраний, ответственные министерства и т. п., представлялись самыми насущными вопросами, как будто бы без них русских мужик не мог просуществовать ни одного дня. Губя Царя из-за интеллигентских фетишей, не думали, что на стороне безвластия стоят утописты-фанатики, которые немедленно и вырвали власть от не народной интеллигенции, пообещав народу то, что интеллигенции, в силу своих знаний и известной порядочности, обещать не могла. Это отбросило нашу культуру и хозяйство на столетие назад. И глубоко запали мне в душу слова, сказанные мне как-то в разгар смуты Г.В. Глинкой: «если уж были недовольны Государем, если уж действительно к этому были основания, то почему же было, по примеру, наших предков-бояр времен Иоанна грозного не перетерпеть, веря, что наступит другое время?» Да, если бы потерпели, то не на двести лет во всяком случае ушли бы назад. Вернее предположить, что удача в войне и любовь Царя крестьянству ознаменовали бы последнюю часть Его царствования крупным поступательным движением по пути упрочения духовного и материального благосостояния крестьянства, без оттеснения свободы интеллигентского класса, которой он уже около пяти лет совершенно лишен.

Конец жизни Царя Николая II — это пример того, как надо служить своей родине, пример достойный высших образчиков человеческого геро-

изма он мог спасти себе и семье своей жизнь, подписав позорный Брестский договор и бежав из России.

Своею смертью он искупил все свои вольные и невольные ошибки и поднял себя на ту высоту нравственной чистоты, которая для человечества дороже всяких материальных выгод, ибо она духовно очищает людей, облагораживает их и тем облегчает им жизнь на грешной и часто несчастной земле.

Эти беглые мысли о русской трагедии — результат частых раздумий, почему и для чего мог погибнуть такой чистый душой человек, как Николай II.

Продолжение начатых в Петербурге нападок на медико-санитарные общественные организации, в связи со стремлением их «милитаризовать», т. е. передать их учреждения в непосредственное распоряжение военно-санитарных частей, имело место, как я уже говорил выше, в Могилеве, в Ставке Верховного Главнокомандующего, куда я и был командирован в качестве представителя юго-западного Управления Красного Креста. Совещание состоялось, кажется, за месяц приблизительно до падения Временного Правительства. Открыл наше заседание начальник штаба Верховного Главнокомандующего вскоре трагически погибший, молодой генерал Духонин. Было как-то странно видеть на месте убежденного сединами Алексеева юную, стройную фигуру нового начальника. Он сказал нам несколько приветливых слов, и, видимо, смущаясь, старался внушить нам, что военным ведомством еще ничего определенного не решено, что нам не следует видеть в возникших предположениях признаков какого-либо недоверия, тем более похода против общественных организаций. Затем председательствование перешло к новому, революционному, помощнику начальника штаба по гражданской части В.В. Вырубову, до этого занимавшему должность председателя Комитета Всероссийского Земского Союза на западном фронте. Это был необыкновенно яркий, характерный эпизод из истории кратковременной деятельности кабинета «Львов-Керенский».

Бывший ярый защитник роли общественности на войне, первый среди деятелей Земского Союза по рекламированию, порой выходившему за границы всякой деловой надобности, военной работы земств, старался нас прежде всего успокоить, просил не волноваться, доказывал, что, мол, правительство совершенно не против общественных организаций. Я не верил своим ушам: неужели это говорил В.В. Вырубов, а я, старый чиновник, член Государственного Совета по назначению А.Д. Зиновьев и ... бывший уже министр Юстиции, старый социалист П.П. Переверзев, имевший порядочность отказаться от участия в поощрении большевизма Керенским, мы в таком странном противоестественном сообществе, вынуждены доказывать пользу и значение медико-санитарных общественных организаций, говорить, что при всяких государственных строях имеется разница между методами казенной и общественной работы, что, в частности, деятельность российского Общества Красного Креста определяется его уставом, что сомнительно, чтобы военно-санитарное ведомство могло вдруг само

справиться с надлежащей полнотой со всеми сложными задачами лечения, питания, эвакуации раненных и больных и проч., и проч.

В качестве некоего обвинительного пункта мне были предъявлены какие-то цифровые ведомости, которые должны были уличить наше юго-западное Управление Красного Креста в невероятной расточительности. Из этих ведомостей я узнал о наличии у нас такого громадного личного состава, что если бы это было верное, мы давно бы были должны помещаться на скамье подсудимых или в доме умалишенных. По высоте невежества, которое проявлялось представителями обвинения можно было судить в каких деловых руках находится теперь военно-санитарное дело и как было бы своевременно предоставить именно теперь военно-санитарной части всю полноту власти и распоряжения всеми материальными средствами общественных организаций. Когда я разобрался в «уличающих» ведомостях, я с изумлением понял, что численность нашего личного состава исчислена на основании данных о выписанных нами единицах довольствия. При этом, обвинители, судя, вероятно по тем принципам, которые насаждались в новой России, считали, что мы кормим только самих себя, т. е. наш личный состав, а не больных и раненных воинов. Естественно, что если всех больных и раненных воинов, которым помогает Красный Крест, относить к его личному составу, то должно получиться впечатление какой-то, в буквальном смысле слова безумной панамы. Я довольно раздраженным тоном объявил совещанию сущность ошибки. В.В. Вырубов, видимо, смутился и вновь призывал нас к спокойствию. Меня очень интересует в какой мере спокойно встретили бы наши земские оппозиционные деятели подобный запрос к ним при Царском Правительстве; разве не раструбила бы на весь свет пресса о таком случае. Как доказательство полной несостоятельности старорежимного чиновничества? Мы поступили, конечно, иначе; мы не находили возможным в тяжелое для родины время, подрывать доверие к ее властям при посредстве печати: мы избрали из своей среды депутацию во главе с представителем Красного Креста А.Д. Зиновьевым, которой поручили подробно в Петербурге доложить наши соображения, в целях добиться прекращения похода против медико-санитарных общественных организаций военного времени. Депутация эта не успела исполнить данного ей поручения, так как для Временного Правительства настало время исключительной заботы о спасении своей власти от большевиков, закончившееся, как известно, октябрьским бегством Керенского.

Справедливость требует отметить, что я не знаю в какой мере земец Вырубов разделял предположения о фактической ликвидации на фронтах Красного Креста и Союзов, но, во всяком случае, он явился передатчиком этих предположений. Подумал ли при этом он о том впечатлении, которое на врагов союзов произвела бы их ликвидация как раз после того, как был достигнут государственный переворот? Подумал ли он, что такие актом навсегда закрепилось бы мнение о политической пропаганде, как о главнейшем побуждении Союзов работать на театре военных действий?

По возвращении в Киев я застал наше Управление в чрезвычайно тяжелом положении. По мере ослабления власти Временного Правительства,



усиливалась власть или произвол, что для того времени было синонимом, украинских учреждений: Центральной Рады, во главе с проф. Грушевским и правительства, во главе с большим писателем Винниченко.

Рада проделывала социалистические опыты в духе близком к большевизму; опыты эти были одобрены кроме того узким шовинизмом, уничижавшим всю ту общерусскую культуру, которая так дорога каждому малороссу. По улицам непрерывно таскали портрет Шевченко, так что это начало уже казаться смешным даже его поклонникам; появились в каких-то фантастических костюмах распропагандированные австрийцами наши солдаты, бывшие военнопленные; они были злобно-грубы; порою приходилось слышать озлобленный шепот: «и когда уже этим москалям вырежут языки, чтобы они у нас не балакали по-своему?» Язык Пушкина вызывал отвращение в развращенных австрийской пропагандой, душевно изуверченных, людях. Равноправие устанавливалось для трех языков: украинского, польского и... еврейского, ибо, как гласил текст закона, это были языки основного населения Украины. Гоголь, его язык, признавался иностранным, конечно, этот тупой шовинизм был чужд народным массам; крестьяне считали все эти правительственные опыты панской выдумкой, и к ним подползала (Л. 389) большевистская зараза; язык большевиков по тому времени был более понятен и заманчив для народа, чем стихи Шевченко.

Рада, однако, добилась несомненной «популярности» в народе и даже облагородила некоторые грубые его привычки, очевидно, перенятые от москалей. Так, на базарах Киева и в деревнях при ссорах торговки и вообще баб между собой, которые, как известно, любят в патетический момент задрать высоко юбку и, повернувшись к врагу, крикнуть: «а поцелуй меня, такая-сякая /или такой-сякой/ в ...», последнее нецензурное слово было заменено словами: «в центральную Раду». Это крылатое слово «поцелуй меня в центральную Раду», так укрепилось в народе, что, я думаю, оно останется в Малороссии навсегда и явится для Грушевского нерукотворным памятником.

Министерства Винниченки были чрезвычайно демократичны: в них ходили в шапках, харкали и плевали всюду на пол, всюду курили. Некоторые «народники» умиленно сравнивали их с волостными правлениями, забывая, что в большинстве последних имелись опытнейшие чиновники — волостные писаря и умные общественные представители — старшины. Отличительной чертой новоявленных министров являлось повальное взяточничество, переносившее нас во времена, по крайней мере, 17–18 века. Суд разрушался — на местах выбирались судьи из состава шоферов, поваров, каторжников даже, вообще лиц, которые ничего общего с судебной деятельностью не имели. Моему брату впоследствии пришлось, например, столкнуться с делом семейного развода одного из таких судей, по его собственному приговору. Вообще удачно подготовлялась почва для большевизма.

Кстати, я вспоминаю характерный для отношения к делу со стороны служащих старого режима случай во время украинизации суда в Киеве, когда почтенные заслуженные судебные работники выбрасывались беспощадно на улицу и обрекались с их семьями на голодную нищету. Одно

из уездных земств Полтавской губернии предложило мне быть третейским судьей в споре его с поверенным земства. По этому делу я должен был беседовать с одним левым присяжным поверенным-поляком. Он опоздал на свидание, извинился тем, что затянулось заседание Судебной Палаты, где слушалось дело одного из его клиентов. Приехал он какой-то взволнованный. «Я всецело под впечатлением судебного заседания», рассказал он мне, «Боже мой — что это за люди наши старые судьи; дело очень сложное, и, представьте, член палаты такой-то /была названа забытая мною теперь фамилия/ вникал подробнейшим образом во все мелочи дела, лишь бы добиться правды, а ведь он с большой семьей с завтрашнего дня остается без куска хлеба, я ведь знаю его материальное положение, и в таком состоянии, будучи уже уволенным со службы, думать о чужом деле; какая высокая нравственная чистота!»

Рассказ присяжного поверенного так констатировал с тем, что делалось новыми слугами родины. Там все почти сводилось к личным честолюбиям или материальным выгодам.

Особенно процветало взяточничество в учреждениях, ведавших отводом помещений. Главой этого дела был какой-то студент-хохол, кажется, галичанин, убитый большевиками по взятии ими Киева, так как на него со всех сторон посыпались жалобы потерпевших лиц. Нас, конечно, не замедлили выселить из домов Терещенко; под управление удалось найти помещение вдали от центра города — в здании бездействовавшей частной торговой школы /на углу Бульварно-Кудрявской ул. и Обсерваторного переулка/, а с размещением различных наших складов, резервов санитаров и сестер, гаражей и т. п. возникали часто тяжелые затруднения, требовавшие «смазки».

Несмотря на близившееся окончание войны, леченые заведения и в районе армий, и в тылу были переполнены ранеными и в особенности больными; развал фронта повлек за собою заметное усиление эпидемий. Между тем кредиты на содержание учреждений отпускались с большими заминками и в недостаточном размере. Бывали моменты, когда тот или иной лазарет начинал буквально голодать, и врачебный персонал содержал больных за свои личные сбережения, в складчину. Хотя Красный Крест оказывал большую и существенную помощь и украинизированным воинским частям, местное правительство не отпускало нам, конечно, никаких средств, да и не в наших интересах было настаивать на этом, чтобы не ставить себя в зависимое положение от украинских властей.

Мы неизменно отстаивали ту точку зрения, что находящаяся на фронте учреждения Красного Креста и все краснокрестное имущество военного времени, сосредоточенные по обстоятельствам войны в юго-западном крае, представляет собственность единого Российского Общества Красного Креста.

Когда, после некоторой борьбы, сопровождавшейся вооруженными столкновениями в городе, казаки и другие верные России части, во главе с начальником военного округа, вышли, по соглашению с украинскими

властями, из Киева, положение наше стало очень непрочным и деятельность наша еще более усложнилась.

В таких условиях застал нас в Киеве государственный переворот, произведенный осенью 1917 года большевиками. Придерживались согласно духу Женевской конвенции и Устава Общества, аполитичных начал в нашей работе, мы не считали себя в праве преследовать примеру русских чиновников, объявивших забастовку, тем более, что выпустили мы из своих рук руководство краснокрестными учреждениями, имущество было бы разграблено, а раненные и больные остались бы в беспомощном состоянии. Однако, мы были и далеки от мысли о возможности служить под властью большевиков. Поэтому Б.Е. Иваницкий, обсудив с начальниками частей Управления создавшееся положение, послал в Петербург телеграмму, подписанную всеми нами, в том смысле, что мы считаем наши полномочия, данные прежними правительствами, потерявшими силу, просим срочно указать наших заместителей, до чего будем, в интересах раненных и больных, продолжать нашу работу. В это время Главное Управление Красного Креста было уже расформировано, при его протесте в Женеву, а во главе дел Красного Креста был поставлен какой-то «товарищеский комитет». Должен упомянуть, что у нас как в Центральном Управлении, в Киеве так равно даже и в армейских районах, где уже производились на местах выборы всех высших должностных лиц, несмотря на все события, оставался прежний состав руководителей, ранее назначенных и вновь переизбранных на съездах. Только в одной 7-ой армии на выборах победили большевики, во главе с неким полуграмотным санитаром Зенюком; они, конечно, начали свою работу с попыток красть, но подчинились нашему комитету и в общем удавалось даже их вводить в рамки исполнения их служебного долга.

Ответа на нашу телеграмму из Петербурга нами не было получено, обстоятельства же складывались так, что не было в нашем расчете торопить «товарищей» с присылкой наших заместителей: на юге скоплялись силы добровольческой армии, она остро нуждалась в санитарной помощи; еще до октябрьского переворота часть краснокрестных запасов было решено постепенно отправлять в глубь страны, чтобы спасти их от грабежа покидавших фронт солдат; по этому поводу Иваницкий имел какие-то секретные указания Главного Управления, основываясь на которых продолжал и впоследствии осторожную при удобных случаях переотправку медицинского имущества на Дон, в распоряжение генерала Алексева, а потом Дееникина.

Однажды, нас посетил какой-то «товарищ», ревизовавший учреждения Красного Креста; он совершенно ничего не знал, какова судьба нашей телеграммы и кто должен заменить нас. Это было юноша, с обычным для товарищей начесом жирных волос на лбу, довольно тупой наружности, называвший себя студентом, но не производивший впечатления образованного человека. Иваницкий пригласил его в очередное заседание нашего комитета, который обсуждал ряд злободневных вопросов, между прочим, о взаимоотношениях с украинской властью. «Ревизор» просидел все заседание молча, видимо, он был несколько подавлен спокойной обстановкой заседа-

ния, в котором совместно работали старорежимные чиновники и представители солдат, шоферов и проч., причем эти представители с уважительным вниманием относились к соображениям председателя Комитета.

По окончании заседания, Иваницкий совершенно спокойным и серьезным тоном, с едва заметной иронией, обратился к юноше: «вот вы ознакомились с нашей организацией и очередными вопросами; может быть, вы со своей стороны хотели бы дать нам какие-либо указания?» Юноша смущенным голосом. Потупя глаза в пол, пробормотал: «нет, что же, продолжайте действовать, как и теперь». Иваницкий иронически улыбнулся; перед солдатами и шоферами бессилие большевистского представителя было удачно и совершенно лояльно продемонстрировано; это пригодилось нам в скором времени в один из самых опасных моментов нашей деятельности на юго-западном фронте.

Как и следовало ожидать, Центральная Рада не могла долго удержать власть в своих руках; среди зимы 1917 года уже начали подступать к Киеву войска большевиков, без сопротивления им крестьян. Последние тогда еще не испытали на себе прелестей большевистского режима, а деятельность Рады им была уже достаточно известна; население поэтому защищать Раду не могла. В Киеве были какие-то украинские части, которые в течение одиннадцати, если не больше, дней, расставив батареи в различных частях города, палили беспорядочно по Черниговскому шоссе, вызывая ответный огонь, часто довольно меткий, со стороны большевиков. Последние, главным образом, бомбардировали район железнодорожных станций и места открытых ими украинских батарей, в частности, специальному обстрелу подвергался многоэтажный дом «бабки» Грушевского, близ Ботанического сада; после гибели его дома, этот «деятель», к счастью, исчез навсегда из Киева, и о нем ничего больше не было слышно. Так как рядом с домом, в котором я жил, была почему-то размещена одна из батарей, то большевики, нащупав ее, выпустили свыше 35 снарядов в район нашей усадьбы. Дней пять-шесть я продолжал ходить на службу, но потом нервы не выдержали, и я засел дома. Невольно приходилось все время прислушиваться к звукам разрывов, успокаиваясь, когда они удалялись и тревожась по мере их приближения. С каждым днем условия жизни ухудшались: прекратилось освещение /электричество/, затем и стало воды, с ведрами и кувшинами ходили к ближайшему пруду, а впоследствии три дня даже не мылись совсем, участились грабежи, начались скучнейшие ночные дежурства всех жильцов дома на лестнице; специалисты составляли даже письменные приказы и планы на случай нападения на дом; у нас старичок-инженер выработал подробную инструкцию дежурным, когда с какой ступеньки лестницы стрелять по мере наступления грабителей; он забыл только, так же, как и все мы, о довольно существенной подробности: о том, что, кроме парадной в нашем доме была еще и черная лестница, никем не охраняемая и с плохо запираемой дверью. Один день обстрел нашей усадьбы был так силен, вид разорванного на клочки солдата, скрывавшегося в соседнем дворе был так тяжел /этот солдат участвовал в крупнейших боях в Галиции и вернулся без одного ранения/, что я не выдержал, и, по примеру большинства моих со-

седей, засел в подвале среди капусты и картофеля. Мой родственник долго не хотел выходить из квартиры, но в конце концов тоже не выдержал и появился в подвале; спускаясь (Л. 394) с лестнички, он насмешливо объявил: «теперь и я понимаю в чем заключается углубление революции». Из подвала при сильных близких разрывах, как это обычно бывает, тянуло на свет посмотреть, в чем дело, что происходит. Остаться на ночь в темном подвале я решительно не мог. Телефон действовал довольно долго; у меня был знакомый дом в центральной части города, откуда я получал различные новости, большею частью не верно подававшие надежду на скорое окончание боев. Когда мне перестали отвечать оттуда, я понял, что снаряд разорвался в доме. Несколько дней мы совершенно были отрезаны от внешнего мира. Иногда стрельба прекращалась на несколько часов, и тогда казалось, что все уже кончено; забирал тяжелый глубокий сон; пробуждение наступало от звуков разрывающихся снарядов, и сквозь сон не хотелось сначала верить, что снова начинается прежнее. В конце концов, нервы были так утомлены, что ни о чем другом не говорилось и не мечталось, как о тишине, чистоте и сне; самые обыкновенные явления нормальной жизни представлялись чем-то несбыточным, чем-то таким, чего уже никогда не будет. Совершенно безразлично было, кто победит: большевики или украинцы, лишь бы перестали стрелять. Впрочем, и по существу дела это было в общем безразлично: для людей государственного порядка, никакой, в сущности, разницы между Лениным и Винниченко не было.

Наконец, как-то внезапно настал тихий день, кажется, с часов трех после обеда: ни одного выстрела, ничего не знаем, что происходит в городе; потом, на другой день, поползли слухи о диких зверствах большевиков. В комнатах вдруг засветилось электричество, и эта мелочь приводила всех в приподнятое, жизнерадостное настроение. Тогда не знали еще сколько близких людей, знакомых и сослуживцев погибнет в эти самые часы тишины. Когда я уже раздевался перед настоящим сном в постели, подошел к окну; вдруг раздался знакомый треск разрыва и вся темная улица осветилась; это разорвалась последняя шрапнель, посланная отходившими украинцами, в мирный город с Житомирского шоссе, очевидно, как свидетельство их тупой злобы. Делать города театром длительных военных действий, чего никогда не было во время Европейской войны, это тоже одно из завоеваний революции. После разрыва (Л. 395) шрапнели весь наш дом не спал несколько часов, снова все высыпали на улицу и ждали с унынием возобновления борьбы.

На другой день стало определенно известно, что город занят большевистскими ордами, под командованием каких-то Муравьева и Ремнева.

В Управлении Красного Креста я узнал, что Иваницкий не прекращал посещать службу, кроме, кажется, кануна и первого дня вступления в город большевиков. Во время боев работали наши перевязочно-питательные пункты. За отказом шоферов вывозили раненных доктора и наш химик. По какой-то странной случайности во все почти наши полевые госпитали, размещенные в Киеве, попали снаряды; в Симферопольском Госпитале было убито во время отдыха несколько сестре и санитаров разрывом; на

вокзале погибли тоже санитар и сестра. В Елизаветинском госпитале снаряд разрушил вестибюль, как раз во время производства операции одному раненному; сотрясение было столь сильное, что оператору показалось, что вся операционная комната рухнет. Громадная пробоина зияла в стене I-ой гимназии, где помещался Евгенинский госпиталь. Затем к нам начали поступать сообщения о том, что в городе видели то того, то другого из наших сослуживцев, окруженных большевиками. В Мариинском парке близ дворца происходило массовое истребление русских офицеров и всех, казавшихся подозрительными для товарищей лиц. Это не был еще систематический организованный террор, который годами истреблял и истребляет русскую интеллигенцию в России; это было просто беспорядочное, уличное истребление кровожадной шайки, состоявшей преимущественно из матросов, прилично одетых людей, в особенности офицеров, которых через год большевистское правительство уже не истребляло массами, а всячески старалось заманить к себе на службу. Поводом к расправе служила, главным образом, или военная форма /погоны/, или наличность красного билета. Эта тупая мера украинских властей — обязать всех граждан иметь красный билет «на украинской мови», под страхом выселения их Киева, стоила жизни многим. Билет всякого служащего снабжался наименованием его почему-то «казаком»; даже переписчицы казенных учреждений имели иногда билеты с надписью «казак такая-то». Не менее тупые и разъяренные матросы расстреливали таких «казаков».

Масса арестованных содержалась в Царском Дворце и в Городском Оперном театре. Красный Крест выполнил блестяще свой долг человеколюбия и в эти дни особенно ярко сказалось значение принятых во время мер к сохранению нашей деловой организации. Немедленно для арестованных были открыты медико-питательные пункты нашими агентами: самоотверженными докторами А. и И., помощником заведующего хозяйственной частью. А.Л. Соболевым и др. Сестры-питательницы для массы родственников являлись единственной связью их с арестованными; они выполняли тяжелую обязанность сообщать родным о трагической судьбе их родителей, детей и т. п.; иначе долго близкие люди томились бы неизвестностью судьбы того или иного арестованного. Это назначение отрядов Красного Креста продолжалось в течение всей нашей гражданской войны.

Командир Муравьев, вероятно, был полубольшевик; он впоследствии, действительно, изменил большевикам и был расстрелян, кажется, на Уральском фронте.

В Киеве он, несмотря на все его беспутство, старался, так же, как и его сотрудник Ремнев, сократить число жертв. Когда мы в срочном порядке послали ему протест против расстрела наших агентов, я видел через день автомобиль, разбрасывавший на ходу по улицам печатные разноцветные объявления, которые призывали товарищей не чинить самовольной расправы. Затем, очевидец рассказывал мне о таком эпизоде: он был схвачен матросами и его вели на расстрел в довольно большой группе других арестованных к Мариинскому дворцу; по дороге их встретил Муравьев, оста-

новил, опросил, что за люди и затем заявил, что сам тут же разберет дело; спрашивал фамилию и чисто механически по очереди направлял одних направо, т. е. на смерть, других налево, для освобождения; мой знакомый случайно попал налево; матросы подчинились решению; только одного врача, уже пошедшего налево, вернули в первую группу, так как нащупали у него под штатским пальто погоны. Муравьев за счет одной части арестованных, спасал, очевидно, от матросов, другую часть.

Когда возобновились в полном составе занятия в нашем Управлении, мы прежде всего узнали, что арестован В.Д. Евреинов и не вернулись домой А.В. Чириков и В.Г. Глинка. К общей нашей радости, после долгой тревоги, Иваницкому удалось добиться освобождения Евреинова, остальных же двух наших сослуживцев долго и тщетно искали среди арестованных, с затаенной надеждой, что они может быть где-нибудь скрываются. После нескольких дней ожиданий, их трупы были, наконец, опознаны в мертвецкой военного госпиталя. У большевиков в начале не было жестокой привычки не выдавать тела замученных ими людей родным. Недели две были у нас непрерывные похороны или панихиды. Гроба тянулись за гробами. Узнавали постепенно о новых несчастиях: о расстреле «по ошибке» нашего сотрудника, с первого дня войны уполномоченного в одной из армий, П.В. Кочубея; о гибели из-за красного билета одного начальника передового отряда /фамилию его позабыл/ и др.

Нам надо было заканчивать нашу ликвидационно-отчетную работу; отдать запасы Красного Креста на разграбление мы не считали себя в праве: в них нуждались русские люди вообще и южная армия, в частности, единственная тогда надежда на спасение родины от смуты. Кроме того личность Красного Креста смягчала несколько жестокости гражданской войны, уменьшала размеры гибели русских людей, вольно или невольно вовлеченных в эту войну. Уже при первом занятии большевиками Киева, наш персонал мужественно не допустил расправы с лежавшими в наших госпиталях украинцами, так же, как через несколько месяцев после этого оберегал больных большевиков от мести им со стороны вернувшихся в город украинцев. Для нас, в массе их, это были переживающие временное безумие, русские люди, которые не могли отвечать за изуверство и безумие различных Лениных, Троцких, Грушевских, Винниченко и проч.

При таких условиях, как это ни было тяжело и противно, нашему Управлению, в целях сохранения своего влияния и делового положения, не оставалось другого выхода, как войти в связь с новой властью — образовавшимся в Киеве «Совдепом». Мы, стремясь оградить деловые интересы, были так жестоки, что сначала настаивали, чтобы Иваницкий побывал у Муравьева лично и ознакомил его с положением и задачами наших учреждений. Иваницкий нервничал, сердился; уж слишком для него было тяжело знакомиться с атаманом разбойничьих банд.

Судя по рассказу одного моего знакомого, который по личному делу Муравьева, последний, действительно, держал себя, как атаман шайки; например, вызывал вестового-матроса не при помощи звонка, а выстрелом из револьвера в потолок. К счастью, удалось избежать такого самопожерт-

ования со стороны нашего начальника, как личный визит его Муравьеву; Иваницкий все отсрочивал свое свидание с Муравьевым до тех пор, пока не начали говорить, что Петлюра — атаман украинцев заручился согласием немцев помочь ему в борьбе с большевиками; переговоры с Муравьевым становились излишними. Кроме того, другим путем установились отношения нашего Управления с большевиками. Было созвано общее собрание всех краснокрестных служащих, находившихся в Киеве; от имени собрания социалист-еврей К., служивший в управлении складами Красного Креста и старавшийся охранить краснокрестные учреждения от большевистского разгрома, обратился в местный совдеп с предложением назначить комиссара, при условии сохранения нашего Комитета под председательством Иваницкого, в полной его неприкосновенности. Совдеп согласился на избрание комиссара из нашей среды, но обязательно из числа лиц принадлежащих к партии большевиков. Наше собрание официально уведомило, что в среде краснокрестных служащих большевиков не имеется, и тогда последовало согласие на избрание эсера. К. и был избран на должность комиссара. Должен отметить его вполне корректное отношение к нам лично и к делу, по крайней мере, в течение всего того времени, пока во главе оставался старорежимный состав; впоследствии мне приходилось слышать о заносчивости и грубости К., но хорошо уже было и то, что, в отличие от большинства революционеров, он не грабил, а берег общественное имущество.

Власть большевиков при Муравьеву ни в чем себя не проявляла в смысле социальных «реформ»; отличительным признаком ее был постоянный грабёж и хулиганство. По магазинам и нередко по частным домам ходили разные матросы с девками, предъявляли какие-то мандаты и отбирали нужные им вещи. Дежурства наши на лестнице не прекращались; особенно утомительно было дежурства с 3 ч. ночи и до утра; в сущности без сна проходила вся ночь, так как ожидание звонка, (Л. 399) вызывавшего на дежурство нервировало и лишало сна. Дежурили парами; картежники и шахматисты проводили время за игрой; я или читал, или раскладывал четыре любимых пасьянсов, приблизительно по двадцать пять раз каждый.

Жизнь под вечным страхом быть ограбленным, полное отсутствие порядка в городе, грубость и цинизм «товарищей» — все это заставило даже патриотически настроенных людей ожидать с нетерпением немцев, как единственного якоря спасения. Тогда распространилось у нас по этому поводу крылатое слово, впервые пущенное в оборот, кажется, в судейской среде: «сердце болит, а шкура радуется». И, действительно, все так желали хотя бы чисто физического отдыха, что готовы были купить его какой угодно ценой; так сильна была тогда нравственная подавленность под влиянием физической слабости. Слухи о немцах ловились с жадностью; то они усиливались, то опровергались. Ссылались на очевидцев, приехавших из Ровно, Луцка и других западных городов, но очевидцы эти, когда вы с ними встречались, ссылались тоже на какие-то слухи. В таком переходе от надежды к безопасности, прошло несколько недель, как вдруг в нашем Управлении появился один наш сослуживец, заявивший, что он



собственными глазами видел немецкий автомобиль у гостиницы Франсуа в Житомире. Как контрастировало наше нынешнее настроение с тем, что мы переживали в Люблине, с печалью и тревогой прислушиваясь к издали доносившейся немецкой канонаде: оказалось, бывает враг хуже и неприятнее внешнего неприятеля — это собственные соотечественники при массовом помешательстве.

Совершенно неожиданно, в один прекрасный вечер, со стороны Житомирского шоссе начали входить в город германские войска, и мы узнали, что большевики уже уходит в другом направлении, на север, за Днепр по Черниговскому шоссе.

Мы не знали с Иваницким, что замедли немцы на один день свое вступление в Киев, и это стоило бы нам жизни. На другой день, после германской оккупации города была получена в нашем Управлении копия телеграммы из Петербурга на имя местного совдепа о том, что его суду предается Иваницкий; моя деятельность, согласно этой телеграмме, подлежала расследованию почему-то в столице.

Немцы водворили в крае, в особенности в Киеве, внешний порядок. Они своим поведением ничем не подчеркивали своей роли «победителей»; даже простые солдаты держали себя вполне корректно. Обыватели вздохнули свободнее.

Но наше положение, как представителей Российского Общества Красного Креста, продолжало оставаться чрезвычайно тяжелым.

Никаких кредитов нам на содержание учреждений, работавших хотя и в сокращенном виде, но усиленно вследствие развития эпидемий, и поступления новых раненных от боев на внутреннем фронте, не отпускалось. Мало того, наша денежная наличность, имевшаяся на внутреннем фронте, не отпускалось. Мало того, наша денежная наличность, имевшаяся в Киевском отделении Государственного Банка и в некоторых полевых казначействах фронта, образовавшаяся, главным образом, от продажи излишнего имущества, оказалась, в силу распоряжения нового украинского правительства под запретом. Такое положение, несмотря на усиленные хлопоты, продолжалось несколько месяцев. Я заседал в каких-то бесконечных совещаниях у нового начальника снабжений украинских войск генерала Стойкина; правой рукой его был, по крайней мере по нашим делам, некий полуинтеллигентный офицер или ветеринар Кудря, в период развала фронта, занимавший несколько недель по выборам даже должность главнокомандующего армиями юго-западного фронта и затем почему-то объявленный большевиками контрреволюционером, хотя и внешне и внутренне этот «Товарищ» от большевиков ничего не отличался, кроме того разве, что говорил не по-русски, а на «мове». Можно было понять, что украинской власти не по душе наше требование считать наше фронтовое имущество Красного Креста и вырученные за него деньги собственностью Российского Общества, хотя юридически другого положения и не могла быть, но уж совершенным невежеством и жестокой тупостью должно быть объяснено упорное неумение или нежелание принимать таких простейших наших доводов, что отсутствие средств в госпиталях обрекает на голод

больных, большинство которых при этом принадлежало именно к составу украинизированных частей. Иваницкий, видя упорство военных частей и получая ежедневно от нашего врачебного персонала душераздирающие телеграммы из различных пунктов края, обратился с пространным, полным фактических указаний на происходящие бедствия среди многочисленных больных и раненных, письмом на имя тогдашнего главы Украинского Правительства Голубовича. Иваницкий просил о самом срочном ответе, но такового мы, конечно, никогда не получили.

Голубович был почти мальчик, недоучившийся студент; ни в каких делах он, по рассказам лиц, обратившихся к нему, ничего не понимал. Выслушав ту или иную просьбу, он как-то растеряно задумывался, кривил рот на сторону и бормотал: «ну и щож мени вам на це сказати?» Затем печально качал головой и оставлял просителя в полном недоумении. Для упражнения в малорусском юморе такие сцены были хороши, но время, которое тогда переживалось, к сожалению, далеко не было юмористическим: люди погибали от ран, болезней и т. п., а также и от грабителей хулиганов, дерзость которых с приходом немцев смягчилась, но не исчезла совершенно, особенно вне городских поселений.

Сотрудники мальчика-премьера мало по их знаниям и опыту отличались от своего главы, за исключением единиц, например, министра юстиции Шелухина, прошедшего хороший судебный стаж во время Империи, имевшего здравые, но исполненные безумного украинского шовинизма взгляды на государственную работу. Взятничество и хищение по-прежнему проникали украинскую «владу» сверху донизу. От компании Грушевского и Винниченко новая «влада» отличалась только еще большим наклоном к большевизму в отношении социальных реформ. Германцы во внутреннюю политику не вмешивались, и край шел верными шагами к анархии и разорению, а это, конечно, было не в интересах германии, видевшей в Украине продовольственную и вообще хозяйственную базу.

Вот почему, происшедший на Пасхе 1918 года переворот, передавший власть Рады Гетману, хотя и не опираясь на активные немецкие силы, но все-таки прошел успешно, только благодаря моральной поддержке его немцами. Если бы последние вздумали защитить тех, кто их призвал в пределы нашей родины, то власть никогда, конечно, не могла бы перейти к гетману. Его власть опиралась на немецкое сочувствие и это предопределило многие последующие события, за которые гетман не может нести ответственности: не он призвал в край «варягов» и не был виновен, что после сокрушения Германии нашими бывшими союзниками последние не пожелали поддержать порядок на Украине, впредь до устройства ее собственной армии.

Офицер, стоявший во лаве военных сил, содействовавших перевороту, рассказывал мне некоторые любопытные подробности этого дела, когда мы случайно скрывались совместно недели три после падения власти Гетмана. Из рассказа этого офицера становилось ясно, насколько было бес- сильно и дезорганизовано Правительство Рады. Военные силы будущего гетмана были совершенно ничтожны; приходилось действовать, что на-

зывается, «на ура». Гурманские генералы заявили, при предварительных переговорах, что они признают переворот только при том условии, если главные учреждения Киева будут захвачены силами самих заговорщиков. Первые шаги в этом направлении были настолько неудачны, вследствие малой численности боевого состава заговорщиков, что значительная часть их была быстро арестована и препровождена в Михайловский монастырь. Однако, смелая, даже дерзкая инициатива кучки офицеров, оставшихся еще на свободе, спасла положение: ими был внезапно захвачен Государственный банк, почта и телеграф, электрическая станция; каждое учреждение группой в несколько офицеров. Правительство Голубовича растерялось, засело в помещении Центральной Рады, где и было, совместно с членами Рады, частью арестовано, частью разогнано; отдельные министры, захватив казенные суммы, бежали из Киева.

В это время в Киеве собрался, под председательством М.М. Вороновича, б[ывшего] Бессарабского губернатора, заранее подготовленный съезд хлеборобов, на который съехались из провинции свыше тысячи представителей мелких земельных собственников, главным образом крестьян. Съезду был предложен вопрос о конструкции новой власти на началах единовластия; вопрос был единогласно решен в положительном смысле, и боевой генерал Павел Скоропадский, один из храбрейших начальников дивизий юго-западного фронта, был избран гетманом.

В городе было такое же ликование, как и в день освобождения его от большевиков. Верили или, по крайней мере, хотели верить, что наступает время борьбы с анархией, переход к строению части России, как первого этапа по пути возвращения всей нашей родины к законному порядку, взамен утопического развала. Депутации от хлеборобов (Л. 403) Скоропадский, на вопрос о его политической программе, отвечал: «она кратка — верность Его императорскому Величеству». Эти слова убеждали, что «Гетманщина» означает и конец нелепому шовинизму украинцев и галичан, заполнявших тогда правительственные учреждения Киева.

Вскоре после переворота ко мне в Управление Красного Креста явился один знакомый по краснокрестной работе молодой человек и передал на словах, что Державный Секретарь Г. желал бы знать, не соглашусь ли я принять назначение на должность товарища министра, при чем мне не было даже сказано, какого именно ведомства. Я, конечно, отказался дать ответ, вперед до подробных личных переговоров. Когда я на другой день пришел в дом генерал-губернатора, переименованный теперь во дворец Гетмана, я прежде всего был поражен той чистотой и тем порядком, от которого давно отвык, бывая в большевистско-украинских учреждениях. В приемных и на лестнице толпилась масса людей, но не было грубой толкотни, площадных ругательств, плевков в пол, фуражек на головах и т. п. — получалось впечатление, что возвращается старое приличное деловое время. Уже в этом одном, чисто внешнем впечатлении, заключался какой-то отдых для души, измученной хамством. От многих, встреченных еще на лестнице, знакомых я выслушивал поздравления с назначением меня товарищем Министра Земледелия. Я недоумевал, как это могло случиться без

переговоров со мною: не знал ни программы, ни личности главы ведомства и не мог, конечно, дать свое согласие на подобное назначение. На место министра земледелия приглашался, по газетным сведениям, мой старый друг с гимназической скамьи, полтавский земский деятель В.С. Кияницын, но по слухам, которые и подтвердились, он отказался от предложенного ему поста. Впоследствии я встретился с ним в Ростове на Земском Съезде; он не хотел расстаться с работой, которую знал и считал по своим силам / для различных Голубовичей психология, конечно, непонятная /; в Ростове же он в несколько дней погиб от тифа.

Державный секретарь Г. принял меня весьма любезно и, объяснив, что он сам нуждается в помощнике, советовал мне взять это место, на что я, после некоторых переговоров и согласился.

Державный секретарь, пользуясь всеми правами министра, имел в Совете Министров только совещательный голос, а, следовательно, не отвечал за политику правительства. Это меня весьма устраивало, так как о деловой программе Гетманского Правительства я ничего не слышал, а кроме того мне необходимо было иметь несколько свободных часов в день для работы в Красном Кресте, оставить службу в котором я не считал себя в праве.

С этого времени, в течение более семи месяцев, я имел, таким образом, двойные обязанности, причем служба в составе Гетманского Правительства была особенно утомительной тем, что заседания Совета Министров продолжались почти всегда до 3–4 часов ночи. Бессонными ночами, но более еще душевными волнениями, я чрезвычайно подорвал свои физические силы и нервную систему, которым угрожало впереди испытать еще весьма сильные переживания снова под игом Петлюровцев и большевиков.

Прежде всего я поделюсь своими впечатлениями от кратковременной моей государственной службы на Украине, без претензии, конечно, дать сколько-нибудь обстоятельный очерк истории восьмимесячного гетманского управления Украиной; для этого я не располагаю сейчас никакими материалами, кроме моей памяти. Затем скажу несколько слов о нашей краснокрестной работе за время гетманщины.

В державной канцелярии я фактически оказался, до назначения на место державного секретаря И.А. Кистяковского, полномочным распорядителем, так как Г. текущими делами почти не занимался, канцелярию посещал редко и посвящал себя высшей политике «при дворе» гетмана — борьбе за влияние; он был одним из главных заговорщиков против Рады. Всегда нервный, с блестящими глазами, патетический, говорящий таким тоном, как будто бы продолжается его участие в каком-то заговоре, Г. не был способен к мирной государственной работе. В Совете Министров он, считая себя независимым от последнего, держал себя более, чем спокойно: разносил резко предположения разных министров, предъявлял Совету иногда ультиматумы, настаивал перед гетманом на том или ином назначении или отказе назначить избранного Советом кандидата, вообще смотрел на себя, как на государственного канцлера, и в конце концов вооружил (Л. 405) против себя министров в такой мере, что Совет настоял на увольнении его в отпуск, а затем на замене его Кистяковским. Около месяца, од-

нако, Г. удерживался на своей должности, и я за это время успел очистить канцелярию от случайно попавших в нее, в качестве наследия от заговора, дел, например, по какой-то не предусмотренной никакими правилами, цензуре газет, политическому сыску и т. п., поставив дело на те основания, на которых оно велось в канцеляриях Государственного Совета Министров времен Империи; гетманское правительство получило, благодаря этому, вполне удовлетворительный аппарат для грамотного ведения журналов Совета Министров, подготовки в техническом отношении законопроектов, надлежащего оформления высших назначений и т. п. Однажды, у меня в кабинете появился Г. более оживленный, чем обычно; глаза его метали молнии; черные усы, которыми он умел во время разговора двигать как-то так, что они в наиболее патетические моменты направлялись острыми концами на собеседника, на подобие какого-то устрашающего орудия, на этот раз находились в особо угрожающем положении. Он объявил мне, что уезжает в продолжительный отпуск, что я должен оставаться на посту при всяких обстоятельствах, что гетман согласился на то, чтобы я заменил Г., и что настанет некогда время, когда на Украине останемся только мы вдвоем, т. е. он и я; «остальные исчезнут, только я и вы», закончил свое прощание со мною Г., крепко сжимая мою руку. Я не расспрашивал о судьбе прочих министров, которую им готовил Г.; я только понял, что он чем-то чрезвычайно недоволен, и грезит, очевидно, о каком-то новом заговоре. Он сам говорил мне, что он не создан для мирной государственной работы; подъем творчества на пользу государственных нужд, он, по его словам, чувствовал только в периоды опасности, когда требовалось бороться тайно и с риском для жизни, в обычное же время он предпочитал хозяйничать. При таком настроении Г. хорошо, конечно, сделал, что уехал из Киева. На другой день, после моего прощального разговора с ним, у нас появился И.А. Кистьяковский, который объявил о своем назначении на должность Державного Секретаря. Когда мы с ним вдвоем сидели в кабинете последнего, вдруг растворилась дверь и в комнату поспешно вошел Г.; его глаза и усы устремились (Л. 406) по направлению к креслу, в котором сидел Кистьяковский. Последний, в свою очередь, изумленно всматривался в Г. /они ранее никогда не встречались/. Я сказал на ухо Кистьяковскому, кто такой Г.; произошел короткий, холодный разговор. Судя по изумленному лицу Г., я должен был поверить, что гетман, действительно, пообещал ему назначить меня его заместителем. При Кистьяковском я работал так же самостоятельно, но уже не в области всех дел Державной Канцелярии, а преимущественно по делам Малого Совета Министров, т. е. более мелким, текущим, по весьма многочисленным вопросам. Кистьяковский же, главным образом, «делал политику», с моей точки зрения, довольно неудачно, о чем я расскажу ниже. Он через месяца два перешел на должность Министра Внутренних Дел и предлагал мне место товарища министра, от чего, конечно, отказался.

Мое постоянное участие в заседаниях Совета Министров /сначала Большого, а потом Малого — в составе Товарищей Министров/ и предварительное ознакомление, по обязанностям моей должности со всеми законодательными предположениями, часто мною лично редактирован-

ными, ставили меня в центре всей политики Гетманского Правительства. Думаю, что при таких условиях мои выводы о деловом качестве этого Правительства могут иметь известное значение для истории одной из ярких попыток борьбы со смутой.

Члены правительства гетмана во главе с П.А. Лизогубом, энергичным председателем Полтавской губернской Земской Управы, обнаруживали совершенно незаурядную работоспособность, большой житейский и деловой опыт, умение, за небольшими исключениями, окружить себя честными людьми, преимущественно из состава опытных старорежимных чиновников. Некоторые отрасли дела были поставлены, можно смело сказать, на высоту дореволюционного времени; например, судебное ведомство и в центре, и на местах не уступало старорежимному; целый кадр частных преданных делу работников, воспитанных на уважении к закону, был привлечен на Украину со всех концов России, положение о Сенате было разработано продуманнее даже, чем российское, и этот законодательный акт не следовало бы, по моему мнению, игнорировать по восстановлении России. На должной высоте стояла податная инспектура, государственное казначейство, почтово-телеграфное ведомство, личное дело и т. п. Суд и хозяйство, усилиями гетманского правительства восстанавливались, но это был только хлеб насущный для государственного порядка, духовная же стороны в правительственной работе отсутствовала. Какова была общая программа правительства, на какие круги и основные положения предполагало оно опираться, какими средствами будет вестись борьба с большевиками в случае ухода немецких войск — все это до самого конца гетманщины оставалось, для меня по крайней мере, неизвестным и непонятым, да, думаю, и для самого гетмана.

Главнейший вопрос внутренней политики — аграрный не получал разрешения, которое могло бы привлечь крестьянские массы на сторону новой власти, несмотря на горячее стремление и гетмана, и либерального министра земледелия, известного земского деятеля, В.Г. Колокольцова, поставить этот вопрос в государственном масштабе; на местах эгоистические классовые интересы, пользуясь временной поддержкой немецкий солдат, затемняли государственные задачи. Часть помещиков, не веря в прочность положения, цинично взыскивала с крестьян понесенные убытки, чинила на это почве различные безобразия, тем более постыдные, что все это совершалось с помощью иностранцев; последние действовали совершенно бесконтрольно, не подчиняясь гетманской власти.

Психология таких помещиков ярче всего выявилась в словах одного моего знакомого хохла: «наплевать нам, какая власть у нас будет, украинская ли, российская ли, лишь бы нас вернуться в наши Голопуповки». Такая циничная психология заставила, вероятно, и бессарабцев приветствовать румынский захват; истинные патриоты Крупенские или Пуришкевичи, не соглашавшиеся честь родины и русского имени приносить в жертву материальным выгодам и бросившие свои богатства поместья, являлись ведь не правилом, а только исключением.

Для крестьян все власти делались одиозными; они ненавидели большевиков, смеялись над петлюровцами и поносили немецко-панскую гетманщину; они ввергались в анархию, образовывали повстанческие грабительские отряды, которые занимались больше всего еврейскими погромами, при всяком ослаблении порядка, особенно, после ухода немцев и водворении в крае сначала петлюровцев, а потом снова большевиков. Типичными представителями такого анархизма явились шайки Махно, грабившая край при всех властях. Большевики их сами научили грабить; гетман мог, не сумел отучить их от этого, так как не повесил для примера ни одного помещика, пошедшего в смутное время родины по следам ослепленных крестьян.

Отшатнув от себя крестьян, гетманское правительство не сплотило вокруг себя и класс интеллигенции. Оно желало сразу угодить и тем, кто видел в успокоенной Украине путь к восстановлению всей России, и той кучки фанатиков-честолюбцев, которые, не имея никаких корней в народе, мечтали об отделении Украины от России, во вред им обоим. Гетмана заставляли произносить речи, прославлявшие Мазепу, оскорблявшие русское национальное чувство, удовлетворявшая мелкому завистливо-злобному «щирых украинцев» к величию общерусской культуры. Кистяковский при всяком удобном случае говорил о том, что он «штудировал усиленно мову», выступал с шовинистически патриотическими речами в Украинском клубе, которые обалдевших местных «знаменитостей» приводили сначала в восторг, массу же русских людей отталкивали от гетманской власти. Такая двойственность проявлялась в массе мелочей, которые сильно, однако, будоражили общественное мнение. Например, в Совете Министров едва не получил положительного разрешения вопрос о непризнании, по предложению украинских кругов, Киевского Митрополита Антония, назначенного на место, зверски убитого большевиками Высокопреосвященнейшего Владимира. Еврей Гутник, Министр Торговли, более чутко отнесся к этому вопросу, чем украинские шовинисты; он, извинившись, что выступает по делу, в котором может быть признан не компетентным, произнес горячую речь в защиту Митрополита Антония, указывая, какое тяжелое впечатление на массы православных людей на Украине произвел бы конфликт между популярным Иерархом и гетманом. Речь Гутника много способствовала тому, что Гетман был избавлен от позорного для православного человека шаге; на приеме у нового митрополита членов гетманского правительства. Гутник подошел даже, в целях, очевидно, демонстрации, под благословение Владыки, в то время, как православный министр иностранных дел Дорошенко приветствовал его только наклонением головы.

Кистяковский считал нужным для чего-то разыгрывать из себя «широкого украинца» даже наедине с людьми, с которыми он был хорошо знаком с юных лет. Однажды, в приемной гетмана у нас завязался горячий спор, когда К. начал вдруг поносить Москву, русскую литературу и т. д.

(Л. 409) Мне говорили, что он затеял со мною спор в целях демонстрации своей приверженности идеям «самостийной Украины» перед немецкими агентами, которые имели уши даже в пустых залах гетманского дворца.

Стараясь внешне подражать Столыпину, Кистяковский, как правоверный некогда кадет, видимо, искренне верил, что государственный деятель — консерватор и националист, каковым он явился на Украине, должен быть резок, груб и страшно хитер. Если бы К. встречался ранее со Столыпиным, то он узнал бы в нем как раз обратные качества: вежливость, ласковость и искренность. Вообще копии старорежимных деятелей весьма были далеки от их оригиналов.

Ссылки на то, что «лгать» про «самостоятельную Украину» необходимо для немцев были весьма распространены в кругах близких к гетману. Этим старались смягчить невыгодное впечатление на русское общество от некоторых его речей. Моя память сохраняет, однако, факт, который не вяжется с подобными объяснениями. Секретарь украинского посольства в Берлине В.А. Ланин лично рассказывал мне, как был принят украинский посол барон Штейнгель, Министром Иностранных Дел Германии; последний прямо, открыто заявил барону Ш., что он смотрит на него, как на представителя будущей восстановленной России. Несомненно, и среди германцев наблюдалась в этом вопросе двойственность; военная партия, кажется, действительно мечтала о расчленении России, этого, естественно, должны были желать и австрийцы, как авторы нашего украинского движения, но было, следовательно, и другое мощное направление — в пользу единства России. Гетман, по моему мнению, переоценивал зависимость свою от немцев, он, несомненно, мог бы держать себя несравненно независимым. Заяви он немцам в ультимативной форме о своей ориентации на Россию, последним пришлось бы или принять ультиматум, или свергнуть Гетмана, т. е. оккупировать Малороссию. Другого выхода них не было, так как пустить снова к власти большевиков или полубольшевиков не могло входить в их задачи. В обоих случаях победили бы государственные интересы, так как Гетман подобным шагом внушил бы доверие к своим замыслам со стороны генерала Деникина и союзников, а себя и свое имя освободил бы от подозрений, что он держится за свою власть во что бы то ни стало, от чего, по всем поим наблюдениям, Скоропадский был действительно далек.

(Л. 410) Двойственность гетмана и его правительства, в связи с желанием угодить немцам, была порою весьма тяжела и неприятна для людей, пошедших работать с ним в общерусских интересах. Она по достоинству была оценена пословицей, ставшей народной: «хай живе Украина — от Киева до Берлина». Мой первый доклад у гетмана состоялся в таком срочном порядке, что я не успел ему представиться заранее и он не знал еще меня в лицо и по фамилии. Я представлял, между прочим, к подписи проекта указа о назначении секретарем Державной Канцелярии А.А. Татищева. Гетман задумался и затем задал мне вопрос, почему нельзя было бы на высшие должности подбирать преимущественно местных людей, а то Татищев такая русская фамилия, что пойдут разговоры о затирании малороссов и т. п. Я, догадавшись, что Скоропадский не знает, кто я такой, возразил, что фамилия ничего не доказывает, что Т. — полтавский помещик, что и моя фамилия Романов, а между тем я весьма многими узами связан с



Малороссией. Гетман чрезвычайно смутился, быстро подписал указ, просил меня не придавать значения его словам и т. д.; когда я уже подходил к лестнице, из соседней с кабинетом гетмана залы я услышал быстрые его шаги; он догнал меня и с обаятельной любезностью, обычной у этого красивого, изящного генерала, несколько раз переспросил меня: «ведь вы не рассердились, не правда ли?» В такие моменты верилось, что Скоропадский — прежде всего русский человек, а на другой день прочтешь его «Мазепинскую» речь и снова сомнения.

У меня лично наиболее резкие столкновения с двойной игрой гетмана и членов лизогубовского кабинета произошли на почве прав русского языка. Вместо того, чтобы просто и ясно разрешить этот вопрос в смысле равноправия двух языков, правительство воздерживалось от издания определенного закона о языках. Прения в Совете Министров велись, журналы его заседаний и законопроекты писались и слушались в совете всегда на русском языке, но затем текст законов, равно, как и различных актов от имени гетмана объявлялся на украинском языке. Это не был наш народный малорусский язык, это было какое-то галицкое наречие, с производством не достающих слов не в родном русском духе, а на основании чуждых образцов польского и немецкого словопроизводства. Крестьяне этого отвратительного, порожденного австрийскими происками, волапюка не понимали, просили часто писать на русском, все понятном языке, а не на выдуманной «панамы» специально для мужиков «мове». Архивы гетманских министерств должны быть полны характеристик по этому поводу крестьянских прошений. Канцелярии тратили массу времени на переводы законодательных актов и т. п. Малороссы и галичане — специалисты переводчики, часто ожесточенно и долго спорили между собою по поводу того или иного термина. Поэтому, например, Положение о Сенате было введено в действие с опозданием на месяца два: его никак не могли перевести. Суды должны были применять вообще русские законы, делать на них иногда текстуальные ссылки, а украинцы все-таки упрямо добивались, чтобы приговоры составлялись и объяснялись на галицийской мове; угрожали в противном случае избивать людей, но жизнь была сильнее и то присяжные заседатели, то адвокаты, то судьи заявляли энергичные протесты по поводу отдельных выступлений того или иного судьи на украинском языке. Вся эта каша и споры имели место исключительно из-за нерешительности правительства ясно разрешить вопрос.

Инцидент со мною из-за русского языка произошел на такой почве. Правительство гетмана вело, как известно, какие-то бутафорские переговоры о мире с Москвой. Представителями на мирной конференции от Украины был б[ывший] министр юстиции кабинета времен Рады Шелухин и от Совдепии — будущий глава Украинского Правительства Раковский. Для большевиков конференция нужна была, как орган пропаганды, так как Раковский привез на Украину массу агентов, под видом специалистов, широко снабженных, конечно, награбленными деньгами. Ему не трудно было, что называется садить постоянно в лужу противную сторону, так как Шелухин и Ко в своем шовинистическом русофобстве часто переходили

границы здравого ума, требуя тех или иных уступок в пользу Украины. Достаточно сказать, что даже сокровища картинных галерей и музеев предполагалось разделить чисто механически по национальному признаку, не считаясь с необходимостью при таких условиях разрознить ту или иную коллекцию, разбить тот или иной музей, как единое целое. На конференции разрабатывался вопрос о судьбе, в том же духе черного передела, и краснокрестного имущества. По этому поводу возникала порою переписка между нашим юго-западным Управлением и канцелярией украинского представителя на конференции. Однажды, за подписью Шелухина, мы получили наш запрос обратно с припиской на нем, что на надлежит обращаться в канцелярию на «державной мове» или на международном языке — французском, в противном же случае всякая наша переписка будет возвращаться нам без ответов. Зная, что никакого закона о государственном языке еще нет и считая выходку Шелухина оскорбительной для нашего учреждения, представлявшего Российское Общество Красного Креста, я, по поручению Иваницкого, отправился объясняться с Шелухиным от имени нашего комитета. Он принял меня вежливо, но со злобным огоньком в глазах, упорно настаивал, что украинский язык — державный, с гордостью рассказывал, что от счета гостиниц, написанные на русском языке, возвращает без оплаты советовал мне изучить украинский язык по произведениям моей матери, которая, кстати сказать, никогда на галицийском волапуке не писала, и вообще совершенно не был убежден моими доводами о праве нашем обращаться в конференцию на русском языке, который прекрасно был известен всем украинским членам конференции, начиная с самого Шелухина. Этот случай дал мне повод войти с представлением в Совет Министров о необходимости законодательного урегулирования вопроса в смысле равноправия обоих языков, комитет же наш постановил продолжать переписку с украинскими учреждениями на русском языке. На другой день в «Киевской мысли» появилось сообщение, под заглавием, напечатанным крупным жирным шрифтом: «Инцидент Шелухин-Романов». Шелухин дал в печать объяснения, полные клеветы на Русский Красный Крест; я ответил письмом в «Киевскую Мысль» и большой статьей в «Киевлянине». Завязался, одним словом, горячий спор в печати; б. товарищ Министра Земледелия А.А. Зноско-Боровский, скончавшийся перед эвакуацией Новороссийска от сыпного тифа, выступил с тонко остроумной заметкой, в которой, ссылаясь на авторитет Шелухина, утверждавшего с упрямым упорством, что каждое государство должно иметь свой государственный язык, говорил, что очевидно, в Швейцарии таковым языком является швейцарский, в Финляндии — финляндский, в С.-Американских Штатах — американский и т. п.; Сенатор Литовченко по вопросу о допустимости малорусского языка в судебных учреждениях выступил с обстоятельным докладом в местном юридическом обществе; украинская печать тоже не молчала и распиналась за прелести и удобства галицийской мовы.

В разгар споров о языке, я, уже разочаровавшись в своей работе в составе гетманского правительства, выставил свою кандидатуру в Сенаторы,

которые первоначально баллотировались в Совете Министров, а затем уже пополняли свой состав путем выборов в отдельных присутствиях Сената.

В Совете сначала происходило предварительное оглашение кандидатуры, а через день-два, если не было возражений в предшествующем заседании, производилась окончательная баллотировка. Моя кандидатура не вызвала возражений, но в день баллотировки ко мне зашел бывший тогда Министром Юстиции Чубинский, вскоре замененный моим братом, и, разговорившись со мною по поводу газетного ответа моего Шелухину, неожиданно, после комплиментов по моему адресу, заявил: «но, знаете, В.Ф., я несколько смущен тоном ваших статей; в принципе я вполне разделяю наши мысли, но мне кажется, что вы как-то вообще враждебно настроены против украинского языка; между тем, я должен вас предупредить, что идя в Сенат, вы этим самым уже обязываетесь серьезно овладеть местным языком; по крайней мере, представляя того или иного кандидата на должность сенатора, я предварительно заручаюсь его согласием через несколько месяцев хорошо изучить язык». Я на это возразил, что вражды у меня к малорусскому языку быть не может; наоборот, я все время высказываюсь за предоставление ему свободно развиваться, но только без полицейских мер содействия этому и не путем искусственного вытеснения русского языка, который нужен и незаменим во всех частях бывшей Империи; условие получения сенаторского звания для меня не было известно, я о нем слышу впервые, а потому и заявляю об отказе моем баллотироваться, считая неприемлемым по поводу ответственной работы в высшем судебном месте брать на себя какие-либо обязательства филологического свойства. Чубинский был, по-видимому, несколько смущен создавшимся положением; в Совете Министров, он, дойдя до моей фамилии, как мне потом говорили очевидцы, быстро проговорил, что я отказался от назначения, и перешел к следующему кандидату. Однако, некоторые члены Совета заинтересовались, почему я накануне был согласен, а на другой день уже переменил решение. Чубинскому пришлось дать объяснения, возник принципиальный вопрос, и Совет высказался, что мой отказ от изучения «мовы» не может препятствовать избранию меня в Сенат.

Основной вопрос — о государственном языке все-таки был при этом трусливо обойден. В то время, как русские люди то отталкивались, то привлекались к гетманской «владе», в зависимости от направления хотя бы такого, больно задевшего русское самолюбие, вопроса о правах великой русской речи, назревала большая опасность в виде агитации и подготовки восстания Петлюрой и Винниченко, которые почему-то арестовывались, а затем выпускались на свободу, вместо того, чтобы быть обезвреженными /надолго, если не навсегда. Победить этих демагогов думали уступкой украинским влияниям, забывая, что последние — только интеллигентские выдумки, что за повстанцами Петлюры скрываются большевики, как это и обнаружилось весьма скоро. Неожиданно кабинет Лизогуба был переформирован приглашением в его состав представителей «щираго», т. е. злобствующего, ненавидящего Россию, украинства. На место, например, моего брата, поднявшего суд на большую высоту, Министром Юстиции

был назначен бездарный судья Вязлов, говоривший на «мове» шаблонные либеральные фразы, но не способный ни к какой творческой работе и занимавшийся только, в течение нескольких недель его министерской работы, попытками усиленно украинизировать суды, т. е. просто дезорганизацией их. Министр Путей Сообщения В.А. Бутенко, почему-то из преданного России русского инженера обратившийся внезапно в «щираго украинца», своими гонениями на русских железнодорожных агентов, в том числе и рабочих, и смехотворными изменениями привычных для народа названий станций, подготовлял прекрасную почву для большевизма по всей сети юго-западных железных дорог, ибо только через большевизм массы служащих рассчитывали вернуть себе свои места. В таком же духе действовали и некоторые другие министры, даже военные управления, помогавшие Петлюре стянуть боевые запасы к центру его повстанческой работы — Белой Церкви. Когда опасность созрела, когда стало ясно, что «щирые» готовят гибель гетману, а немцы выдыхались на театре военных действий, Скоропадский ухватился за единственно правильную русскую ориентацию. Сбившийся с пути Лизогуб был заменен почтенным государственным деятелем С.Н. Гербелем, сформировавшим кабинет из лиц, любивших Малороссию, как часть Великой России, но было уже поздно, чтобы воодушевить русских патриотов на войну в внушить к себе доверие со стороны Антанты и Деникина, не имевших способности читать в душе гетмана, а удививших обо все по чисто внешним фактам.

Когда все рушилось, виноват сказался один Скоропадский; его горячие сторонники принялись резко его критиковать, отказывали ему даже в каких бы то ни было признаках ума; более подлые из них обвиняли его даже в трусости, несмотря на всем известную храбрость его во время великой войны.

Я не могу согласиться с тем, что Скоропадский был не умен, ибо отсутствие государственного опыта не есть еще признак глупости. У меня был случай лично убедиться в незаурядных способностях этого русского генерала.

Я, с назначением в Сенат, оставался вне политических и общественных кругов Киева; между тем, назревали весьма интересные события. Для того, чтобы быть в ближайшем соприкосновении с ними, я решил принять участие в заседаниях местного Союза земледельцев. Я откровенно сказал председателю Союза В.П. Кочубею о моих принципиальных расхождениях с идеологией Союза и о цели преследуемой мною при посещении его заседаний; я предложил только мои технические знания и служебный опыт. В.П. Кочубей с полной терпимостью отнесся к моему заявлению, и, по его предложению, я был кооптирован в состав Правления Союза, что, в свою очередь, открыло мне двери, как представителю Союза, во многие заседания другой крупной общественной организации — торгово-промышленной, носившей название «Протофиса». Когда гетман начал склоняться под влияние злобствующего украинства, Правление Союза Земледельцев решило отправить к нему депутацию. В заседании были намечены разнообразные вопросы внутренней политики и те ораторы, которые должны были выступить от имени Союза перед Гетманом, в порядке

поставленных вопросов. Таких ораторов было избрано свыше десяти; мне было поручено говорить по моей специальности, тогда наиболее злободневной, относительно ориентации на Россию, о правах русского языка и, в частности, о необходимости принять меры против Винниченко, перешедшего в печати все законные пределы в травле всего русского, в особенности тех несчастных русских, которым удавалось для спасения своей жизни бежать от большевиков на Украину; этот полупсихопат, полубольшевик требовал закрытия границ для остатков русской интеллигенции, называл ее хищным волком, пожирающим запасы Украинского народа, советовал гнать волка, бросая ему в морду «горячей соломой» и т. п. Для того чтобы Скоропадский не мог заранее узнать о темах нашего собеседования и не имел возможности ограничить депутацию одним обращением к нему заместителя Кочубея графа Гейдена, было условлено, что последний тотчас же после вступительного своего слова заявит, что слова просит такой-то, а по окончании его речи назовет следующего оратора и т. д. до исчерпания списка всех заготовленных речей. Таким образом, гетману пришлось отвечать сразу на все наши речи, затрагивавшие, повторяю, разнообразнейшие вопросы внутренней политики: земельный, об организации армии и полиции, о формировании частей для борьбы с повстанцами, о составе правительства и т. п. Сначала, видя непрерывный поток речей, Скоропадский как будто бы несколько растерялся, но вскоре быстро овладел собою и сосредоточенно слушал. Он дал ясные исчерпывающие ответы на все выслушенные им советы и заявления, иногда несколько уклончивые, но во всяком случае указывавшие на близкое его знакомство со столь еще недавно чуждыми его кавалерийской специальности делами; с ним можно было спорить, не соглашаться, так же, как весьма спорными были и многие положения Земледельческого Союза, но отказать ему в понимании спорных предметов нельзя было. Обошел он молчанием только мои определенные заявления, как мы смотрим на Украину в будущих ее отношениях с Россией; с вопросом о признании государственным русского языка он просил несколько выждать, а по поводу преступной деятельности в печати Винниченко сослался на свою неосведомленность и обещал приказать расследовать это дело; Винниченко, конечно, не дождался расследования и бежал из Киева к повстанцам. Итак, для человека, говорящего без предварительной подготовки по ряду неожиданно ему заданных серьезных вопросов, Скоропадский проявил много находчивости, знания и ума. В заседаниях Совета Министров, которые иногда посещал гетман, с первых же дней его ознакомления с государственной машиной, я ни разу также не наблюдал того, чтобы он садился, что называется, в лужу.

Не отсутствие ума или тем более личной отваги погубили гетмана. Причины его падения гораздо глубже; дело историков в них разобраться, мне же лично, по моим данным и наблюдениям, они в главных их чертах представляются в таком виде: робость в сношениях с германцами, ложный страх их ухода в случае заведения своей достаточно большой вооруженной полиции, двойственное отношение в вопросе об основаниях и целях временного отделения Украины от России, преувеличение общественного

значения украинских кругов, стоящих за полную самостоятельность Украины, раздражение весьма влиятельного круга русских людей различными мелочами, задевавшими их патриотическое чувство, неумение властно остановить и покарать корыстолюбие части местных помещиков и неумение правительства Деникина и союзников выделить из разного рода украинской бутафории Главную цель генерала Скоропадского — вернуть к порядку из омута анархии хотя бы часть России, а потому и отказ ему в своевременной помощи, облегчивший конечную победу большевистских орд.

Что касается работы нашей по Красному Кресту, то о ней много говорить не приходилось. Главная задача заключалась в том, чтобы имущество Российского Общества Красного Креста не было распылено: это требовало кропотливой мелочной работы по учету имущества, стягиванию его в центральные склады, ликвидации всего излишнего и скоро портящегося. Задача была выполнена блестяще, так как в юго-западном крае были сохранены в неприкосновенности ценные хозяйственно-медицинские запасы, которыми для помощи больным и раненым русским людям широко пользовались и большевики; при разрушенной в крае земской и городской медицине эти запасы были существеннейшей помощью и для местного населения, особенно, если принять во внимание, что нам удалось сохранить не только имущество, но и ряд прекрасно обставленных, в полной работоспособности, полевых госпиталей, сформированных различными Российскими Общинами Красного Креста. Даже в Ровно, по занятии его поляками, они овладели двумя такими госпиталями, продолжавшими свою работу уже после эвакуации Новороссийска. Будь все краснокрестное дело на б. юго-западном фронте брошено без хозяина, все было бы просто разграблено, теперь же Российское Общество по его восстановлению, возобновит свою работу в крае не с пустыми руками, и даже получит, вероятно, возможность производить расчеты с Польшей.

Кроме того, нашему комитету приходилось вести борьбу с поползновениями то украинцев, то большевиков сделаться распорядителями наших запасов. Украинцы образовали национальное общество Красного Креста, не получившее, конечно, легализации, так как для этого требовалось признание Украины самостоятельным государством со стороны всех держав, подписавших Женевскую конвенцию. Большевики прислали в Киев особую многолюдную миссию, во главе с неким страховым агентом Зубковым под видом помощи военнопленным, занимавшуюся пропагандой. И те, и другие нас атаковали. Меня специально посетил, работавший ранее в одном из армейских наших госпиталей, еврей — доктор Бык, с требованием объяснений «от имени Совета Народных Комиссаров». Совет, как он важно заявил, интересуется, в каком подданстве я себя считаю: если в русском, то почему я состою на службе в гетманском правительстве, если в украинском, то по какому праву я сохраняю свою должность в Российском Обществе Красного Креста. Я отказался говорить с этим «Консулом Москвы на Украине» и предложил ему обратиться ко мне, если он хочет, с письменным вопросом: последнего я так и не получил, но о злобных глазах этого еврея вспоминал часто, когда мне пришлось скрываться от боль-

шевиков и я знал, что он, занявший на Украине пост комиссара здравоохранения, неоднократно справлялся о моей судьбе и очень, видимо, желал бы встречи со мною для отправки меня в чрезвычайку.

Наше положение, как местного органа Российского Общества Красного Креста, не признающего ни Украинского Общества, ни большевиков, в качестве наших руководителей, становилось, действительно, весьма ложным и затруднительным. Тогда В.Е. Иваницкому пришла в голову счастливая мысль собрать в Киеве заслуженных деятелей Красного Креста для выборов временного главного управления; председателем его был избран Иваницкий, членами признаны все наличные члены разогнанного большевиками прежнего Главного Управления в Петербурге, а кроме того было вновь избрано несколько членов из состава известных общественных деятелей: Н.А. Хомяков, гр. А.А. Бобринский, И.Н. Дьяков. Я также удостоился чести быть избранным в это учреждение, которое играло затем большую роль, в качестве правопреемника старого Главного Управления, во все время гражданской войны на юге России и было упразднено уже лишь в Париже в 1920 году, где возобновило свою деятельность прежнее Главное Управление под председательством графа П.Н. Игнатьева, причем, за членами, как нашего Временного Управления, так и Сибирского, возникшего при Колчаке, справедливо было сохранено право голоса в заседаниях Главного Управления, а Иваницкий возглавил Исполнительную Комиссию — постоянный орган Управления. Таким образом, в лице Иваницкого, бессменно пронесшего флаг Красного Креста от времени крушения юго-западного фронта через украинцев и большевиков до Деникина и Врангеля, сохранилась идея единого законного Российского Общества Красного Креста, без всяких перерывов в его деятельности. Фронтный наш комитет, остававшийся в прежнем составе и с прежним представителем Иваницким, со времени учреждения Временного Управления, получал уже все распоряжения от последнего и с Петербургом совершенно, конечно, не сносился впредь до захвата Киева большевиками.

Выполненная этим комитетом работа запечатлена почти полностью в разновремененно составленных мною кратких печатных отчетах; если они уцелели, они представляют любопытный материал для освещения условий и содержания краснокрестной работы на юго-западном фронте в период смуты.

За время гетманщины Иваницкому пришлось еще организовать перевозочно-питательные отряды для помощи населению «Зверинца» /часть Печерска — над Днепром/, пострадавшему от страшного взрыва снарядов в военных складах, и, наконец, гетманским войскам, во время жестоких боев их с Петлюровцами, а также после заключения русских офицеров в здании музея Цесаревича Алексея.

Группа старорежимных чиновников, с начала войны возглавлявшая Красный Крест на юго-западном фронте, до последней возможности выполняла свой долг по отношению к вверенным ей обществом учреждениям и имуществу; она распалась только тогда, когда не было сомнений, что оставаться на своем посту было бы равносильно самоубийству.

Петлюровские войска появились в Киеве как-то неожиданно; этому предшествовали разные слухи о приближении французов, о том, что на ст. Казатин ставится даже на паспортах французская виза и т. п. Тогда еще никто не знал о подкупах в Одессе, о предстоящей сдаче даже этого города большевиками, которые шли, как я говорил, по пятам Петлюры. Манифест Гетмана, короткий, но красноречивый «об отречении» и появление на улицах Киева петлюровцев совпали. Гетман, как передавали, вышел пешком из дворца в район «Липок», где квартировали германские части; была брошена бомба, раздался взрыв, кого-то, якобы раненного, принесли на носилках в дом одного из немецких генералов или в ближайший госпиталь, откуда этот «раненный» был отправлен на вокзал с забинтованным лицом и эвакуирован в Германию с очередным немецким эшелонном. Граф Келлер сражался на Крещатике, в своей форме и с Георгиевским крестом на шее, до тех пор пока не был схвачен петлюровцами и затем, через несколько дней, зарублен этими разбойниками при «попытке бежать». Из квартиры дома Софиевского [так в тексте] Собора, выходящих окнами на Софиевскую площадь, многие видели предательское убийство этого доблестного генерала; долго не исчезающая у памятника Богдана Хмельницкого лужа крови подтверждала «героические» приемы борьбы украинцев. Все министры, бывшие в Киеве во время вступления в город Петлюровцев, были захвачены врасплох и большинство из них арестовано; это спасло им жизнь, так как их решили судить, а позже, по мере озверения, петлюровцы расстреливали во время доставки арестованных в тюрьму по примеру бегства гр. Келлера. Министрам удалось бежать только благодаря бегству перед большевиками самих петлюровцев. Погиб лишь один министр исповедания М.М. Воронович, ранее по делам службы выехавший из Киева и попавший в руки петлюровцев где-то близ г. Бендер.

Мой брат занимался в своем служебном кабинете /на Думской площади/ до вечера, когда ему сказали, что враг уже в городе. Он переоделся в какой-то хулиганский костюм, взял в карман бутылку водки, в другой новый паспорт, сказавшийся работой агентов Петлюры, ибо год отбывания воинской повинности был показан так, что подделка паспорта не оставляла сомнений /такие паспорта очень любезно раздавались какими-то канцеляристами/, и пошел бродить по митингам. Поздним вечером он зашел ко мне и сообщил свои впечатления; ясно было, что Петлюра — только орудие большевиков; никакого значения его имя для масс не имело, никакой украинизации никто не желал — одни хотели просто свободы грабежа, другие ненавидели украинцев за поношение ими всего русского. Например, для опыта брат попробовал среди одного большого уличного скопища начать кричать: «хай живе ...», он не сказал еще «вильна Украина», как на него устремились отовсюду злые глаза, и он иронически закончил: «вильна Андалузия»; эти слова были покрыты смехом и аплодисментами толпы. Это было утешительно, потому что временный большевизм представлялся нас более выгодным, чем петлюровщина — полубольшевизм на шовинистической подкладке. Большевиков не могли признать французы, помощь которых все еще ожидалась. Петлюра же мог ввести их в заблуждение и удер-



жать при их содействии власть, как якобы представитель «национального порядка». Отношение к Петлюре определилось в Киеве, еще до его приезда сюда, в разных мелочах. Помню, например, рассказ моего сослуживца о разговоре его с рабочими хохлами, строившими арку для торжественной встречи Петлюры на площади Богдана Хмельницкого; на вопрос: что они строят, рабочие со смехом ответили: «это для Петлюры виселица».

Я только что оправился от тяжелой болезни /испанки/; в курсе наших дел не был, и утром следующего за вторжением украинцев дня пошел в наше Краснокрестное Управление; зная, что мне не избежать ареста, в случае неприятия мер предосторожности, я просил, чтобы меня уведомили обо все подозрительном у дома, в котором я жил. Вскоре действительно мне было сообщено, что у дверей моей квартиры — вооруженные украинские солдаты. Попросив секретаря, на случай, если бы за мной пришли в Управление, сказать, что я на службу не приходил, я заперся в своем кабинете и подписывал последние срочные бумаги — документы об отправке одного деникинского генерала за границу по делам наших военнопленных. Это был последний час моего легального существования; затем, с декабря 1918 года по август 1919 года мне пришлось впервые в жизни проживать подпольно. Из управления я направился к одному знакомому консулу, у которого и нашел себе временное убежище, а далее начались мои трагикомические странствия, о которых стоит рассказать как о весьма характерных для нашего смутного времени и для его «героев».

Я не в состоянии был сидеть долго взаперти под добровольным арестом и по вечерам выходил прогуливаться по ближайшим улицам, а однажды направился даже в ближайшую баню. Последняя была полна петлюровских солдат, утомленных, грязных, с кровавыми ссадинами на ногах, но добродушных и радостных под влиянием теплой, уютной обстановки бани; они парились, били друг друга вениками, поливали водой, шутили, извинялись передо мною, когда случайно толкали меня; ничего зверского в них не было; это были славные, остроумные хлопцы, казалось, никому зла не желавшие. Без вождей в них спал зверь и появлялся человек. Я вспоминал, как много было случаев, когда мирные человеческие крестьяне, от которых нельзя было ожидать никакого зла, внезапно зверели, жгли, резали, грабили, убивали помещиков, не плохих, а самых преданных народу, как только среди них появлялись «идейные руководители» из утопистов или каторжан. Купавшимся со мною было бы дико обидеть меня в бане, хотя я и беседовал с ними на русском языке, а приди сюда какой-нибудь Винниченко, и закричи исступленным голосом: «геть москаля, бей его», толпа добрых парней легко могла бы обратиться в стадо зверей, способных на бессмысленное убийство; так добродушные псы натравливаются людьми на кошек, сами себе не давая отчета, для чего требуется непременно задушить безвредную кошку. Не в этом ли объяснение всех зверств нашей «бескровной» революции? Не Керенские ли и К-о начали натравливать солдат, рабочих и крестьян на офицеров, судей, чиновников, священников и проч. Они, вдохновители кровопролития, которому большевики придали

лишь организованную и более откровенную форму, а не простой русский народ, ответит перед судом истории за всю пролитую в России кровь.

Мои прогулки не прошли даром; с утра в садике против нашего дома мы стали замечать фигуру украинского солдата, внимательно вглядывавшегося в окна квартиры и проводившего на садовой скамейке почти весь день. Стало ясно, что установлено наблюдение. Прогулки мои сделались реже. Приурочивались к поздним вечерам. Было бы очень тоскливо, если бы не философские разговоры с молодым офицером С.-У., о котором я упоминал выше, как о руководителе военной организации, свергавшей Правительство Рады. Он весь был поглощен вопросами о Боге, много читал и думал на богословские темы, его пытливые искания, горячая вера в Божеские законы и значение их для правильного построения социальных отношений были увлекательны и помогали отвлекаться от мыслей о гадостях, которые творили петлюровцы, в Киеве, начиная с убийства гр. Келлера и кончая внезапными ночными вторжениями в частные квартиры, в которых хватались «москаля», «бежавшие» затем во время доставки их из тюрьмы; трупы таких бежавших валялись на тротуарах улиц, по базарам и т. п. Однажды так были убиты два брата — студенты, не принимавшие никакого участия в политике; родители нашли их тела на Сенной площади, и убийцы имели циничную смелость извиниться перед несчастными отцом и матерью в происшедшей «ошибке». Хотя мы считали себя в относительной безопасности, но уверенности в том, что не подвергнемся ночному нашествию не имели; спали тревожно, поздний звонок у парадных дверей заставлял нас скрываться из общих комнат. Раз вечером, после такого звонка, нам пришлось сказать, что нас желает видеть по совершенно секретному делу какой-то господин, лица которого рассмотреть нельзя, фамилии свое назвать не желающий. Таинственного гостя привели в нашу изолированную комнату; появилась фигура в черном плаще, по горящим глазам я узнал моего сослуживца по кабинету Гетмана Г.; он был в своей роли заговорщика — в черном плаще, исполненный тайн и душевного подъема. Петлюровцы, найдя его, расстреляли бы на месте, как одного из главнейших вдохновителей заговора против Рады. Он жил в каком-то подвале, выходил только в сумерки, закутанный во все черное. Пришел он к нам совещаться, что следовало бы предпринять для свержения Петлюры. Эти совещания происходили несколько раз; велись безрезультатные переговоры с немцами, я составил меморандум о положении дел на Украине, отправленный в Одессу от имени Киевского Корпуса консулов, приходили хохлы — недавние ярые сторонники Скоропадского, жаждавшие вернуться в «Голопуповки» и удивлявшиеся, кто мог выдумать такого гетмана, как Скоропадский. Наконец, все наши заседания закончились тем, что Г., сверкая глазами и двигая во все стороны усами, заявил, что перед нами сейчас одна ближайшая задача — уничтожить Петлюру, для чего надо воспользоваться большевиками, а затем уже борьба с ними составит следующую задачу, в которой помогут, верно, и Деникин, и Антанта. Он отправился в Алексеевский парк на митинг, где под гром аплодисментов громил Петлюру и звал на помощь против него «Совдепы». В объяснении временного успеха большевизма,

нельзя, мне кажется, забывать и этого рода настроения и взглядов, в силу которых крайний абсурд Ленина представлялся многим более кратковременным, чем полуабсурд Керенщины и Петлюровщины.

Больше мы с Г. не виделись, так как я, по собственной неосторожности, не только не осуществил своего плана — пробраться в Одессу, но и должен был срочно переменить место жительства. К этому времени большинство моих ответственных сослуживцев, во главе с В.Е. Иваницким, под разными предлогами, оформленными документами, выехало уже или выезжало из Киева в Одессу, а оттуда в Новороссийск — Ростов; в частности, с разными препятствиями добрался туда и мой брат. Первую ночь, после участия в различных уличных митингах, он провел у одного зубного врача-еврея, который, естественно, весьма волновался, имея своим гостем в такое время гетманского министра; по несчастной случайности в 5 ч. утра раздался сильный звонок в квартиру; произошел, конечно, сильный переполох; брат издали слышал громкий разговор горничной с неизвестным мужчиной, затем дверь захлопнулась и послышался уже голос хозяина. «Нет, вы подумайте, такое нахальство», объяснял он брату, «в такое время будить на рассвете, чтобы передать мне через горничную два слова и какие слова — сукин сын». Брат сначала ничего не понял, но врач, не ожидая его расспросов, сам задумчиво добавил: «ну, положим я ему вчера запломбировал зуб». Я заметил, что судьба во всех наших тяжелых переживаниях и волнениях посылает нам, как на сцене, нечто комическое, будто бы хочет дать нам возможность успокоить, хотя бы на время, нервы, передохнуть от трагедии.

Моя неосмотрительность выразилась в том, что я, перед отъездом в Одессу, решил побывать у себя на квартире. Домашние мои не советовали мне ночевать дома, я спорил, доказывая, что петлюровцы не могут именно сегодняшнюю ночь избрать для нападения на меня, так как им неизвестно о моем возвращении; наконец, чтобы не беспокоить зря близких людей, я решил переночевать в свободной комнате одного моего сослуживца по Сенату, которую он нанимал в том же доме в квартире председателя домового комитета поляка-доктора П.

Я вышел из своей квартиры за пять минут до того, как раздался сильный стук со звоном у парадного подъезда, затем шум солдатских сапог по лестнице. Доктор П., проходя мимо моей комнаты, шепнул мне «пошли к вам», и направился, как председатель комитета, присутствовать при обыске, который продолжался почти всю ночь до пяти утра. Я слышал над собою грубый топот ног, бросание различных предметов на пол, передвижение столов. По временам в квартиру заходил бедный доктор П., утомленный, потный, бледный; его жена сильно волновалась; порою заходила ко мне и говорила только: «Боже мой, что они сделают с моим мужем, если найдут вас в нашей квартире». В волнении она несколько раз открывала дверь на лестницу; это было замечено, и галицкий студент, участвовавший в обыске /новая для студентов профессия — одно из революционных завоеваний/ громко сказал: «в нижней квартире что-то подозрительное; надо посмотреть». Доктор рассказывал потом, что в это мгновение он считал уже себя погибшим. К счастью, он очень хорошо говорил по-малорусски,

а потому галичанин и петлюровцы успокоились, когда он объяснил, что внизу его квартира. На расспросы, где я, он отозвался полным незнанием меня, потому, якобы, что я никогда не участвую в заседаниях домового комитета; этим он усугублял, конечно, свою ответственность на случай, если бы я был обнаружен в его квартире. В мысли, что я, быть может, подвел под арест или даже расстрел мало знакомого благородного человека, и заключалась главнейшая нравственная мучительность для меня проведенной в его квартире ночи. Я не помню, чтобы когда-либо в жизни у меня так сильно билось сердце, как тогда, когда я услышал шум спускающихся по лестнице шагов; каждая секунда приближения их к квартире доктора казалась бесконечно длительной, часом, а не секундой. Я задержал дыхание, прислушиваясь к голосам, когда они были уже у парадных дверей квартиры, в которой отведенная мне комната выходила прямо в прихожу. Вдруг, стало (Л. 426) ясно, что проходят мимо, не останавливаясь; хлопнули двери домового подъезда, и настала тишина и в доме, и на душе; я, во всяком случае, не подвел благородного П. Вскоре вернулся и он, и я заснул глубоким, больным сном, не думая об опасностях наступающего дня.

Проснувшись, я узнал, что дом оцеплен петлюровцами и со стороны улицы, и со двора, что вдоль нашего тротуара взад и вперед ходит студент-галичанин, что у меня в письменном столе, между прочим, нашли черновик моей речи гетману о необходимости предания суду Винниченко, что по этому поводу сыщики разразились неистовой бранью по моему адресу: «а такой сякой, хотел гибели нашего батьки», и т. п. /тогда уже «батькой» был не Грушевский/, объявили о своем намерении расстрелять меня на месте поимки, кричали: «тюрьмы ему не видать», что в еще большее раздражение привела всех записочка моей матери, забытая мною в тот же вечер на столе, в которой мать проклинала петлюровцев за их зверства и тупость, говоря, что после всего происшедшего она не в силах будет написать ни одного слова по-малорусски; вся обстановка и полученные мною сведения указывали, что для спасения своей жизни я должен бежать, тем более, что всегда можно было ожидать повального обыска в доме: петлюровцы не поверили, что я выехал в дачное место Святошино, как было отмечено в дворовой книге, ибо они имели точные сведения от своего наблюдателя, когда и куда я вышел из квартиры консула; моя непривычка и неумение скрываться губили меня. Я прежде всего, конечно, освободил квартиру П. от своего неприятного присутствия; на них ночное событие произвело такое впечатление, что они вскоре уехали в Варшаву. Меня приютила в кухне одна знакомая семья, проживавшая рядом с нами; день прошел в обсуждении вопроса, как удрать. Скачала я решил переодеться кухаркой и выйти из дому с корзиной в руках, якобы за покупками; долго меня наряжали, гримировали — не получалось бабы: слишком уже у меня неизменно «буржуйный» вид. Решили попробовать сделать из меня не бабу, а изящную даму, и эта попытка увенчалась полным успехом: на меня надели букли, шляпу с вуалью, юбки, ботинки, манто. В таком виде я решил выйти не в разгаре дня, но и не поздним вечером, чтобы не возбудить подозрений; как только начало заходить солнце, я, простившись во всеми, (Л. 427)

вышел из квартиры на лестницу; меня сопровождала одна знакомая дама, чтобы, в случае неудачи сообщить родным о моей судьбе. В прихожей я несколько раз просил мою компаньонку, дабы мы не казались подозрительными, не молчать при выходе из дома, а разговаривать со мною, но только ничего не спрашивать у меня; мой низкий голос легко было переделать на дамский. Как только открыл я дверь и мы вышли на первую площадку лестницы, перед нами предстала сидевшая на диванчике фигура в солдатской форме. И я, и сопровождавшая меня дама решили, конечно, что это один из петлюровцев; я заметил, как она побледнела, начала учащенно дышать. Спускаясь с лестницы, я шепнул: «говорите же что-нибудь, не молчите». Прерывающимся голосом бедняжка довольно громко произнесла: «а вы собираетесь на концерт Смирнова?» Как раз то, чего я больше всего боялся, вопрос, на который надо было отвечать. Я, для придания своему голосу нежности, откашлялся, и резонанс лестницы далеко передал басистые звуки моего кашля. Это был момент, когда мы считали себя погибшими, но, к удивлению, тот которого мы считали за петлюровца, не двинулся и не преследовал нас. Впоследствии я узнал, что это был мой старый приятель П., причем, когда его спросили не проходил ли кто-нибудь мимо него по лестнице, он вполне добросовестно отвечал, что заметил только двух хорошеньких дам; надо сказать, что он всегда был чрезвычайно близорук, а потому и говорил «о двух». Когда мы пошли по нашей стороне улицы, мимо нас быстро, деловым шагом, прошел муж моей дамы и на ходу шепнул: «на право», мы перешли на другую сторону и оттуда увидели уже настоящего петлюровца. На углу следующей улицы виднелся свободный извозчик; каждый шаг, каждая секунда пути тянулись для меня часами. Я попытался ускорить, но услышал рядом с собою умоляющий голос: «Что вы делаете? Семените ногами, так дамы не ходят, вас узнают». Я вынужден был «семенить», и расстояние казалось еще более длинным; ощущение было такое, как в страшных снах, когда убегаешь от кого-то, а ноги двигаются медленно, с усилием.

Наконец, мы на извозчике; вдали маячили фигуры петлюровцев; я послал им мысленно насмешливый привет. Дня три они еще подстерегали меня, следили за нашими знакомыми; когда проходила мимо (Л. 428) них одна из наших соседок, наивно хотели спровоцировать ее на разговор, громко сказав: «а ведь Романов-то вчера расстрелян», произвели даже обыск в квартире, которую случайно посетила одна из квартиранток нашего дома; наконец, уверовали, что я в Святошине, нагрянули туда, допрашивали местного лавочник и обыскали местную санаторию. Студентам Львовского университета очень, видимо, хотелось еще одного лишнего убийства человека только за то, что он защищал права своего родного языка и обвинял Винниченко в дикой травле русских людей.

В это время я проживал в изолированной, т. е. со входом прямо с лестницы, комнате одного моего сослуживца. Однако, более недели, не возбуждая подозрений, оставаться там нельзя было. Надо было найти более надежный приют, который и был предложен мне в большой, тихой квартире присяжного поверенного С., того самого, по рекомендациям которого

принимались мною адвокаты на краснокрестную работу. Друзья мои настаивали, чтобы я не появлялся некоторое время на улице в своем обычном виде; при обыске были взяты мои фотографические карточки и розданы сыщикам; студента-галичанина видели с моей карточкой на вокзале, где он дежурил при отходе поезда на Одессу. Ко мне, по просьбе друзей, явился один знакомый артист; он надел на меня парик и наклеил усы. В таком виде, под вечер, я отправился к С. Для улицы мой грим был хорош, но в комнате при освещении я видел трещину на лбу и мертвенность пушистых усов из какой-то пакли. У С. был прием клиентов; он передал мне, чтобы я подождал окончания приема, дабы не возбудить подозрения горничной; я отказался войти в ярко освещенную приемную и ожидал в прихожей, в темном углу. С. встретил меня чрезвычайно ласково и тепло; мне была отведена уютная комната, окнами в сад. Я рад был отдохнуть, после всего пережитого, в комфортабельной чистой обстановке, но меня мучили наклеенные усы и парик. Как только я остался один, я немедленно, забыв запретить в комнату дверь, схватил себя за ус и с треском его оторвал; в это же мгновение на пороге я увидел горничную, которая от изумления присела к полу и прошептала: «Иесусе Мария». Она оказалась хорошей девушкой и моя неосторожность пошла благополучно.

Семья С. представляла из себя в высшей степени культурную и гостеприимную среду; горячие патриоты своей родины — Польши, все С., хотя и утрировали несколько значение некоторых представителей польского искусства, старались присвоить Польше происхождение некоторых великих русских людей только по признаку окончания их фамилии на «ский», например, Чайковского, однако знали, любили и ценили русское искусство. Огорчала и обижала их в русской литературе лишь та подробность, на которую я ранее как-то не обращал внимания, что ни один наш крупный писатель не обнаруживал ни малейшей симпатии к полякам: «когда в ваших романах выводится поляк», с печалью говорила мне жена С., «он непременно или шулер, или альфонс; у Достоевского, например, он обязательно называется полячком, полячишкой». Когда я изумлялся богатому выбору в библиотеке С. русских книг, он мне сказал: «да, мы их любим, несмотря на то, что сколько во всем этом встречается нехорошего о поляках». Да, в этом была известная правда, но С. забывали только об одном, что наши классики вообще мало любили положительные типы, и тот класс, к которому принадлежал я — русское чиновничество, изображался ими не в лучших красках, чем русские поляки. Наши споры никогда не были остры, сколько-нибудь злобны; разговоры о литературе, иногда музицирование — все это сближало меня с членами большой семьи С. и я вскоре почувствовал себя в ней, как среди близких, родных, тем более, что взаимные отношения их отличались удивительной теплотой и воспитанностью. Внимание ко мне жены С. было так трогательно и шло так далеко, что она в первую неделю поста очень волновалась по поводу затруднительности устроить мне отдельный постный стол. При этом, несмотря на мои настояния, она категорически отказывалась перевести меня на положение

платного столовника, несмотря на возрастающую тогда с каждым днем дороговизну и почти совершенное прекращение судебной практики мужа.

Тяготило меня одно обстоятельство — это воспрещение выходить из квартиры и невозможность выехать из Киева. Возникали разные предположения о моей отправке: то в санитарном поезде, то в чехословацком эшелоне. Однажды был даже уже назначен день моего отъезда, была сообщена мне заранее моя фамилия: «Ченек-Ветешник». Тогда я никак не мог ее зазубрить, а потом запомнил на всю жизнь. По разным причинам, главным образом, вследствие болтливости людей, даже расположенных ко мне, предположения о выезде не осуществлялись. Я понял после этого, что подпольное существование требует абсолютной тайны, иначе всегда легко можно попасться. Я решил сначала отрастить себе бороду, радикально изменить внешность и тогда уже тронуться в путь, тем более, что доброжелатели предупреждали, что моя карточка продолжала фигурировать на вокзале. Однако, пока я занимался ращением бороды, произошли обстоятельства, которые лишили нас всякой надежды на помощь одесского французского десанта, а вскоре и самая Одесса была захвачена петлюровцами и вслед за ними большевиками. Надо было уже как-нибудь пережить большевизм, скрываться от нового врага, которому я был, быть может, менее интересен, чем петлюровцам, но от которого нельзя было ожидать, конечно, ничего хорошего.

Через месяц, от сидения в комнатах, я почувствовал себя плохо, у меня начались головокружения, и С. разрешил мне гулять по двору с 9–10 часов вечера; это было величайшее наслаждение — право дышать чистым морозным воздухом, обонять запах снега. Когда жизнь стеснена — начинаешь ценить все ее мелочи, мало заметные на свободе.

Недели через три после победы Петлюры над гетманом уже не было сомнения что украинцы будут вытеснены большевиками. Обычным путем, по Черниговскому шоссе, наступали орды большевиков. Население молилось об одном, чтобы на этот раз не повторилась прежняя бомбардировка Киева. Правительство Петлюры, кроме трусливой кровожадности, отличалось особой на этот раз смехотворностью. Социалистические опыты были на время оставлены; главное внимание было сосредоточено на усиленной украинизации столицы Украины — Киева и на рекламном возбуждении в населении доверия к боевой мощи и непобедимости.

Украинизация проявлялась преимущественно в замене русских «названий улиц и вывесок, не исключая докторских и адвокатских, а также в требовании украшать все дома желто-голубыми флагами; так как в большинстве случаев приходилось менять одну-две буквы или выкинуть твердый знак, то дома города, в особенности Крещатик, запестрели белыми латками, наклейками и поправками букв на вывесках. Эта комичная пестрота уличных вывесок и дверных карточек явилась единственным, пережившим петлюровское правительство, результатом его деятельности. На почве срочного, под страхом суровых наказаний, обезображения вывесок происходили юмористические случаи, вызываемые незнанием «мовы» или желанием торговцев перехитрить власть. Один мой знакомый был свиде-

телем сцены, когда какой-то лавочник — еврей патетически кричал рабочим, исправлявшим его вывески: «ой, куда же вы его забросили, ищите его, ведь он еще потом пригодится», «он» это был твердый знак с выпуклой вывески магазина. Вместо флагов на домах вывешивались, за недостатком материи, безобразные тряпки, по оттенками приближавшиеся к желтому и голубому цвету. Вообще, если бы не проливаемая кровь, то Петлюра доставил бы киевлянам столько же развлечения, как бытовой, полный народного юмора, малорусский водевиль.

Способы вселения в граждан веры в военные силы этого атамана были особенно забавны. Газеты сообщали о бесстрашных выездах атамана на Черниговское шоссе, о том, что он воодушевил войска и они отбросили неприятеля, в то время, как мы все в городе явственно слышали приближение канонады; наконец, как верх юмористики, сообщалось, что французы предоставили Петлюре ослепляющие врага фиолетовые лучи, население предупреждалось об их страшном действии, ему предлагалось прятаться. Затем, действительно, на прожекторы были надеты фиолетовые стекла, и, как говорили, большевики в течение нескольких часов принимали их за нечто опасное. Эта водевильная хохлацкая хитрость дала возможность только проявится ответному русскому юмору: рассказывали, как солдат большевистской армии демонстрировал перед одним любопытным хохлом, у которого он производил реквизицию фуража действие фиолетовых лучей; кацап подвел хохла к его корове: «видишь, что это такое?», «А як же, це моя корова», отвечал хохол. Затем ему было предложено отвернуться, на него надели темные стекла, а в это время «Товарищи» увели корову. «Ну смотри, теперь что видишь?», спросил большевик. Хохол должен был признать отвратительное действие фиолетового цвета.

Единственный относительно благородный поступок Петлюры в это его нашествие на Киев заключался в том, что он под натиском большевиков вывел свои войска из города без боя, чем избавил население от ужасов повторной бомбардировки города.

Первое время по овладении Киевом, большевики были заняты исключительно (Л. 432) военными операциями; организованный террор, грабеж, закрытие торговли и обычные бюрократические опыты большевистской власти начались недели через две-три. Из окрестностей города доносилась канонада, то затихавшая, то усиливавшаяся и по мере ее приближения росла надежда на избавление нас добровольцами и французами. Каждый день «из достоверных источников» сообщались различные утешительные сведения; я, как и большинство киевлян, проводил послеобеденное время, прислушиваясь к звукам пушек; помню, как радостно билось сердце, когда выстрелы различались ясно и какое безнадежное уныние овладевало нами, когда на несколько дней стрельба замолкала. В сущности, все восемь месяцев моего подпольного существования при большевиках, я прислушивался, не доносится ли со стороны Житомирского шоссе утешительный, обнадеживающий звук. Ожидание его сделалось какой-то болезненной манией, и некоторые мои знакомые были этим ожиданием так нервно измучены, что были на границе действительного помешательства. И после



падения Одессы нас не оставляла надежда, так как в направлении Киева двигались то поляки, то петлюровцы, то крестьяне-повстанцы; они порою подходили так близко, канонада так усиливалась, что час перемены власти, хотя бы на короткий срок, чтобы вырваться из Киева, казался близок. Затем все затихало, и наступала полоса безнадежности.

В Киев прибывали большевистские части; их размещали по квартирам «буржуев» не вымытыми, без предварительной дезинфекции, со вшами. Дошла очередь и до нашей улицы. В одно утро весь наш двор наполнился солдатами. У С. было две изолированных комнаты с отдельной уборной; он сам вышел во двор, спросил, нет ли земляков и вернулся с несколькими белоруссами, показал им комнаты, попросил не пачкать в уборной. Это были обыкновенные крестьянские парни, призванные в армию; держали себя скромно, без всякой злобы. Когда раз утром запоздал самовар для них, было слышно, как старший давал совет «накричать на буржуя», но остальные на него зашикали; они были хорошими людьми до тех пор опять-таки пока не были под непосредственным воздействием их безумных вождей. Когда их внезапно вызвали в дальнейший поход, они трогательно, целуясь по три раза, как это было и во многих других квартирах, простились с С.; если бы им сказали, что С. должен быть расстрелян, они никогда не поняли бы за что можно лишить жизни такого честного человека, (Л. 433) горячо любимого семьей его товарищами и обществом; он с солдатами был также ласков и добр, как со всеми людьми, которые к нему обращались, ибо он жил по заветам Христа, а не злобствующего материализма. Че-ка была иного мнения о таких людях как С. и постаралась истребить его при первой возможности, совместно с мужем его дочери, разграбив беззащитную культурную квартиру его, на которой оставались одни, убитые ужасным горем, женщины да маленький сын С. Но я опередил несколько события.

Квартира С. заполнилась постепенно бежавшими из провинции поляками. Жил больной раком гортани провинциальный адвокат Т., приехал брат С., мой товарищ по гимназии, человек необыкновенной доброты и деликатности, часто ночевал один помещик, который имел глупость приехать в Киев из своего имения перед занятием города большевиками и поселиться в квартире своего дяди-богача; имя и фамилия обоих были одинаковы; дядя вовремя уехал в Варшаву, а племянник ни с того, ни с сего, заняв его квартиру, начал получать по наследству все распоряжения и гонения большевиков, начиная от контрибуции в несколько сот тысяч рублей и кончая угрозой водворения в Че-ка. Он вынужден был сбежать из дядюшкиной квартиры; при каждой встрече со мною он, с испуганными глазами, однотонно повторял: «нет, вы войдите только в мое положение, как я могу доказать, что я — не дядя».

С. ожидал к себе из провинции еще нескольких лиц — родственников и друзей; мне надо было подыскивать себе другую квартиру, тем более, что во дворе мои прогулки начали уже обращать на себя внимание разных подозрительных подвальных жильцов. К этому времени я обзавелся хорошим паспортом одного покойника и, прописавшись на несколько дней до переезда в участке, видел однажды вечером с небольшим моим багажом из госу-

дарственной квартиры С. для переселения в комнату, нанятую мне в квартире одного гимназического товарища моего брата З. С большой грустью расставался я с С. и его семьей, не думая тогда, какое горе ожидает скоро этих хороших людей. Меня провожал брат С.; когда мы перешли на более глухую и плохо освещенную сторону улицы, мы тотчас же были окружены группой вооруженных лиц в военной форме, наведших на нас револьверы. Это были, несомненно, судя по их тону и манере себя держать, не солдаты, а офицеры; что-то особенно грустное заключалось не в самом факте нашего ограбления, а именно в сознании, во что обратила смута наше офицерство, до какого низкого падения довела ту среду, в которой понятие чести ценилось дороже всего на свете. Студенты производят обыски и при этом способами, на которые не был способен ни один самый худший жандармский офицер старого режима; я забыл упомянуть, что галицийский студент намекал несколько раз на то, что он хотел бы получить ту или иную вещь из моей квартиры, и только присутствие председателя домового комитета стесняло его. На улице офицеры «армии» выступали в роли простых грабителей; в них теплилась еще искра прежнего бывшего благородства, потому что по приказанию старшего из них мне вернули некоторые вещи, имевшие для меня памятное значение. Добрейший С. решил сначала, что это не грабители, а какая-то большевистская засада, специально меня подстерегавшая, поэтому ни за что не соглашался открыть мой портфель по требованию разбойников; его начали бить по шее рукояткой револьвера; я, узнав в чем дело, открыл портфель; последний почему-то мне оставили, а взяли из него только белье. Мое появление на новой квартире поздно вечером без вещей было весьма неудачно, так как могла сразу же возбудить подозрение дворника, открывавшего мне двери в усадьбу, и прислуги, но, по-видимому, случай ограбления меня никого из них не изумил, не показался сочиненным, и все обошлось благополучно. Я не виделся с З. Со студенческой скамьи, а с женой его и детьми совершенно не был знаком, почему и сцена представления им меня под чужой фамилией произошла непринужденно. З. знал, что я скрываюсь, что ему грозит опасность в случае, если я буду узнан, но благородно, ни одной минуты не колеблясь, сдал мне комнату; жена его отличалась большой сердечной добротой, но все-таки я долго скучал по семье С., с которой у меня было в общем больше духовной близости. З. был почти всегда мрачен, как бы в предчувствии своей скорой гибели. Его предупреждали, что фамилия его числится в списках лиц, подлежащих аресту; я горячо убеждал его, хотя бы не ночевать дома, он же, говоря. Что от судьбы не уйдешь, добросовестно исполнял всякие циркуляры и распоряжения большевиков /регистрировался, как запасной офицер и т. п./, получил уже даже какое-то назначение, но все-таки был взят в Че-ка и расстрелян. Он, как и многие другие, никак не хотел понять, то все стороны, во время гражданской войны жестоки, что на той или на другой стороне, и красной и белой, возможны многие случайные жертвы, но что система террора в отношении целых классов русской интеллигенции, классов, а не политических партий, применяется только большевиками, о чем забывают теперь, или, вернее, делают вид, что забывают «сме-

новеховцы», Вобрищев-Пушкин, Ключников и др. В Киеве вскоре был объявлен красный террор: людей убивали каждую ночь.

У З. бывал один товарищ — прокурор Киевского Окружного Суда; он служил в городском обозе, где занимал какую-то небольшую должность, дававшую ему квартирку при обозном дворе. На рассвете ежедневно требовалась городская подвода; возница рассказывал различные подробности перевозки трупов, раздела золотых крестиков, колец и других находок из расстрелянных. Православный праздник Св. Пасхи не освободил обоз от поставки дежурной подводы в Че-ка; расстрелов не было только в дни еврейской Пасхи. Этот факт запротоколирован товарищем прокурора с подкреплением подписями свидетелей и, я думаю, сохранится для истории смутного времени.

Гибли один за другим видные общественные деятели Киева, вся вина которых заключалась в том, что они много дали и для народного образования, как, например, украинофил, в хорошем смысле этого слова, известный педагог Науменко, или для чистой науки, ничего общего не имевшей с внутренней политикой, как, например, знаменитый славист профессор Фолинский или для своей корпорации, как мой первый гостеприимный хозяин присяжный поверенный С., которого большевики для приличия ложно признали имевшим тайные связи с польской армией, или просто для государственной службы при неугодном новой власти режиме, как хозяин новой моей квартиры — З. Убивали людей, которые не только принадлежали когда-то к партии националистов, но просто внесли один раз членские взносы, как это нередко бывает по просьбе учредителей партии. Убивали представителей определенной служебной профессии, например, чинов судебного ведомства, наиболее по свойствам их работы, аполитичных; гибли не только чины прокуратуры, к которым большевики, в значительной их части, бывшие простыми уголовными преступниками, относились с особой злобой, но и скромные члены гражданских отделений суда и палаты. Обыски и допросы сопровождались грабежами, вымогательствами, взяточничеством. Арестовывались и потом выпускались все, к кому можно было, хоть как-нибудь придраться; например, наш сосед угодил в Че-ка только потому, что его фамилия была найдена в числе лиц, отряженных от домовладельцев для поддержания уличного порядка во время проезда Государя в бытность его в Киеве лет пятнадцать тому назад. Донос недовольного швейцара-хулигана или вора был достаточен для расстрела. Так, например, погиб один видный киевский присяжный поверенный. Мелкая неосторожность, случайность приводили иногда человека к смерти или ставили его на край могилы. Знакомый З. Рассказывал нам, как едва не погиб один мелкий банковский чиновник при таких юмористически-трагических обстоятельствах: он закутил в какой-то гостинице с дамой полусвета и остался там ночевать; ночь гостиница подверглась обыску. Ворвавшемуся в номер красноармейцу понравилась дама чиновника, и он его выгнал из номера. Чиновник упросил другого красноармейца проводить его омой, так как он не имел ночного пропуска. Тот согласился, но так как был пьяноват, то при встрече патруля забыл «пароль» пропуска, и оба они

были доставлены в Че-ка. В течение двух недель чиновнику не удавалось добиться освобождения; как только он обращался к кому-нибудь с объяснением его случая, ему отвечали неизменно грозным окриком «молчать». Только когда случайно в Че-ка оказался какой-то агент, лично знавший чиновника, последнему удалось получить ордер об его освобождении, но бедствия его на этом не закончились. При выходе его из Че-ка раздались выстрелы; это была погоня за бежавшими арестантами. Квартал возле здания Че-ка был оцеплен солдатами, и чиновник оказался в оцепленном районе. Несмотря на его протесты и предъявленный ордер об освобождении, он был вновь арестован и заключен с пытавшимися бежать; последовал приказ расстрелять всех беглецов в ближайшую ночь. Чиновнику перед самой уже казнью едва удалось добиться того, чтобы обратили внимание на его документы. С этих пор он засел у себя дома, откуда выходил только на службу и в банк.

Старая знакомая одного из видных большевистских вождей Украины, возмущенная таким произволом в духе описанного случая, написала ему письмо, в ответ на которое он ответил, что «революция» — не салонный минует, в котором может быть все красиво и изящно». Сначала многие возмущались произвольными зверствами большевиков, так как людям свойственно во всех человеческих деяниях искать относительно здравых логических обоснований. Но когда тало совершенно очевидно, что мы имеем дело с небольшой сравнительно группой психически больных людей и массой окружавших их уголовных преступников, возмущение заменилось простым чувством осторожности, мерами, которые принимаются против укусов бешеной собаки, ядовитой змеи и т. п.

Я лично знал только одного из видных деятелей большевизма: Луначарского, в гимназические годы. Это был невероятно, ненормально бледный мальчик со страшной синевой под глазами, со всеми признаками извращенного юноши; знавшие его позже говорили и о денежной его нечестности.

Возмущаться поэтому уже можно было только сознанием собственного бессилия, тем, что власть сумасшедших и преступников может так долго держаться над громадным русским народом, и невольно в голову приходило, что эта власть послана нам свыше, как кара за грехи, в особенности же за тягчайший грех — оклеветания и измены своему Царю.

При описанных мною условиях, потеряв связи с какими бы то ни было полезными общественными организациями, я предпочел не выходить совсем на улицы, где мог легко встретиться с кем-нибудь из многочисленного хулиганского состава знавших меня хорошо в лицо шоферов, сестер милосердия новых выпусков и проч.

Заточение мое было не тяжело, так как квартира 3. Находилась в очень большой усадьбе, дававшей много простора для прогулок; встреч с другими квартирантами в этой усадьбе я избегал, прислуга же верила в мое болезненное состояние — я усвоил старческую походку. День посвящался изучению немецкого языка, прогулке, внимательному подслушиванию, не доносится ли орудийный гул и нетерпеливому ожиданию весны; с весной

связывались почему-то различные надежды, а кроме того, в моей комнате обычно бывало очень холодно; хотелось тепла. Как всегда бывает, когда поджидает чего-либо с особым нетерпением, весна 1919 года сильно за-поздала; то ясно почувствуешь ее, заблестит и согреет солнце, стает снег, начнут уже просыхать дорожки сада, то вдруг снова посыплет густыми хлопьями снег и переживаешь все сначала: и ожидание солнца, и таяние снега, и высыхание садовых дорожек. Когда не возможна полная свобода жизни и нет уверенности в безопасности ее, дорожишь, как я уже говорил, всякой ее мелочью: первые почки на кустах сирени ни разу в жизни не давали мне того наслаждения, которое я испытал в эту весну. У меня резко запечатлелся в памяти образ девочки из соседнего дома, которая жизнерадостно выбежала под лучами солнца в сад, пригнулась к дереву с молодыми почками, поцеловала их и сказала: «о, милые!» Детская психология становилась близкой и понятной, когда приходилось дорожить каждым днем жизни. Даже З., под влиянием признаков весны, немного повеселел и стал рассказывать эпизоды из своей охотничьей жизни.

В общем, первый месяц в нашей усадьбе жилось спокойно. Это спокойствие нарушалось порою только появлением различных большевистских агентов. Несколько раз приходилось подвергаться статистическим опросам, в связи с предпринятой большевиками и, конечно, незаконченной, как и все их культурные начинания, всеобщей переписью городского населения. Для этого мне пришлось вызубрить свою биографию, определить места жительства жены и многочисленных детей, прописанный в моем паспорте, и т. п. Опасный момент в нем заключался в том, что покойный владелец его жил на окраине города лет двадцать на одной и той же квартире, я же за два месяца переменил уже квартиру два раза и при том в сравнительно дорогих районах города. Многие из тех, кто проживали не по своим документам, не озаботившись, как я, установить раз и навсегда точно различные этапы своей вымышленной жизни, попадались, так как при повторных вопросах давали другие о себе сведения, чем первоначально, и, в конце концов, как это ни было противно, я начал сживаться со своим новым именем, социальным положением /лесного подрядчика и счетовода/ и с семьей.

Однажды, переполох в нашей усадьбе произвел какой-то комиссар, Л. 439. который потребовал к себе в сад всех квартирантов. Сначала я думал не идти, но затем опасение, что этим я могу возбудить подозрение прислуги З., которая, впрочем, занималась на кухне больше «пластикой», или, как говорили горничные, «движениями», а политикой совершенно не интересовалась, побудило меня явиться на зов комиссара. Последний объявил нам радостную весть, что отныне хозяин усадьбы лишается права на свой сад и таковой переходит к нам в общее наше пользование, с обязательством общими силами его обрабатывать. Такая забота большевиков, между прочим и обо мне, весьма была трогательна. Конечно, хозяин эксплуатировал после этого свой сад, что требовало больших расходов, по-прежнему, в отчете же власти на бумаге было показано лишнее коммунистическое хозяйство, что только и требовалось.

Вообще, кто непосредственно не соприкасался с мелочами большевистского режима, тот совершенно не может себе представить значения в нем бумаги. С уверенностью можно сказать, что мир еще никогда и нигде не знал такого бумажного царства, как «Советская» Россия. В одной из своих речей глава украинского правительства Раковский, с гордостью говоря о громадности выполняемых советской властью задач, иллюстрировал это заявление указанием, что на одной только Украине пришлось создать кадр чиновников в двести тысяч человек, превышающий состав исполнительных органов всей Царской России. Действительно во всей Империи мы имели не более 40 000 чиновников, и то наша либеральная пресса вопила для чего-то об их перепроизводстве. При этом бюрократизм большевизма отличался, конечно, от императорского тем, что он ничего не творил, а только затруднял или разрушал, а если и творил, то исключительно на бумаге. Я вспоминаю, как один знакомый профессор получил разрешение в различных инстанциях на право купить специальную брошюрку по одному химическому вопросу; хлопоты его длились два месяца. Моему сослуживцу, жившему подпольно, как и я, пришлось однажды познакомиться с сельским агитатором; последний был очень доволен окладом содержания, который был присвоен его должности. На вопрос, как он рискует появляться в деревнях, которые всюду в Малороссии заведомо враждебно настроены против коммунистов, агитатор рассмеялся, показал Л. 440. на запасы спирта в его комнате и объяснил, что, приезжая в деревню, он прежде всего кричит о привезенном им спирте, затем просит крестьян за его подарок не выдать его, помочь ему и подписать приговор о переходе на коммуну. «Им наплевать на это; я уйду и они заживут по-прежнему, а я даю в Киев телеграмму о новой сельской коммуне», так закончил он свои объяснения о выгодности своего занятия. Я сам постоянно читал в «Советских известиях» о появлении новых коммун, и всегда вспоминал при этом рассказ агитатора. Еще припоминаю юмористический случай, как одна моя знакомая, решив, что надо хотя чем-нибудь попользоваться от большевиков, отправилась в открытый ими бесплатный зубоврачебный кабинет. Дежурная молоденькая еврейка осмотрела зубы и нашла один, который следовало, по ее мнению, запломбировать; поковыряла в нем немного и пригласила пациентку явиться завтра; на другой день дежурила другая еврейка; так как записи в книге не было, она не нашла зуба, лечение которого уже было начата, признала больным другой зуб и тоже поковыряла в нем. В третий день дежурил пожилой еврей, который неистово разругал «невежд», берущихся за дело со школьной скамьи», положил что-то в испорченный зуб. Больше этого врача моя знакомая уже не видела, а имела дело опять с новыми евреечками, и через неделю я ее видел с сильно распухшей подвязанной щекой. На бумаге же широковещательно объявлялось, что в Киеве население пользуется бесплатной зубоврачебной помощью. Не стоит останавливаться на Masse других примеров большевистского творчества. Можно сказать только одно: если бы разные Раковские, Подвойские, Быки и им подобные были людьми, лишенными всякого образования, то их бумажное самоутешение еще можно было бы объяснить полным невежеством, а

раз это объяснение не отвечает действительности, то нет другого выхода, как признать их: одних шарлатанами, других безумцами. И странно, что я не встречал за восемь месяцев моей жизни в «советском раю» ни одного честного убежденного защитника большевизма, который не произвел бы на меня впечатление человека более или менее душевно больного. У них обычно не было никаких доводов, кроме какого-то, с видом маньяков повторения фразы: «а все-таки народу будет лучше». Мой первый хозяин С. Рассказывал мне о встрече его с киевским присяжным Л. 441. поверенным О-ко, которого я знал со студенческой скамьи; крестьянского происхождения, плохо воспитанный, мало образованный и очень тупой, он отличался всегда какой-то мелкой завистью к людям, стоящим выше него в том или ином отношении. Юридической науки он не был в состоянии постигнуть, говорил моему брату, что совершенно не понимает для чего нас заставляют зубрить всякую отвлеченную ерунду вместо того, чтобы все четыре года посвятить изучению свода законов. Легко себе представить, какой из него получился адвокат. Как мне передавали, он, впрочем, мало занимался судебной практикой, арендовал где-то на окраине города усадьбу и разводил овощи, т. е. вернулся к почтенной работе своих родителей, на которой он, по своим склонностям, являлся бы, действительно, полезным членом общества и от которой его отбила какая-то несчастная случайность и глупые предрассудки. Но его, без сомнения, грыз червь честолюбия. Когда произошел гетманский переворот, он был у меня и у Кистяковского, просил о назначении, и неполучение такового объяснял, вероятно, не отсутствием у него способностей и опыта, а недостаточностью его протекционных связей. При большевиках уже, когда он встретился с С., он гордо сообщил последнему, что его зовут на службу, но он не знает соглашаться ли. Он просил совета у С., и последний уклончиво ответил, что честно работать можно при всяком режиме, надо только не делать того, что не согласуется с собственной совестью. На это О. живо ответил «да, да, это верно; вот и я поставил условие — побольше крови, теперь главное — истреблять представителей Царского режима». О., по душе его, никогда не был в сущности плохим человеком, был даже добрый товарищ; для того, чтобы пожелать крови, он несомненно, одурманенный первым в жизни случаем, когда не он просил о месте, а его просили служить, потерял голову, вышел из душевного равновесия — это был уже полубезумец. Не знаю, проливал ли он и много ли крови, но что он в его состоянии хронического завистливого озлобления мог оказаться способным на это, я лично не сомневаюсь. Какое обоснование причин большевизма могли бы давать хорошо обучаемые и подобранные типы подобные О.И.

Абсолютно нечестные или слишком корыстолюбивые люди, в Л. 442. рода «сменовеховцев» — те, конечно, подыскивали разные доводы и примеры в защиту большевизма. Им естественно не приходится говорить об основных проблемах коммунизма; это было бы смешно только; они подбирают тщательно осколки этих проблем. Например, излюбленным их мотивом в беседах со мною, было указание на достигнутое революцией изменение в отношениях интеллигенции к простонародью, в частности к

прислуге. Это было, действительно, наше слабое место: «тыканье», вообще часто какое-то презрительное обращение с ресторанной и домашней прислугой, лишение последней отпусков и т. п. были при старом строе довольно распространенным явлением, особенно в высшем обществе и полунинтеллигентных мещанских семьях. На это неприятное явление в нашей офицерской среде обращал внимание еще биограф-переводчик Лермонтова — Боденштедт, изумляясь, что даже наш великий поэт придерживался в этом отношении общих грубых приемов при разговоре с ресторанными лакеями. Но кто наблюдал жизнь прислуги в наших столицах за последние десятилетия, тот не мог не замечать эволюции в деле улучшения условий их жизни; там образовывались союзы, общества, клубы; наши горничные имели возможность раз в неделю посещать танцевальные вечера; наша гвардейская молодежь обращалась к лакеям уже не в духе старого барства; в деревнях редко приходилось наблюдать со стороны действительно интеллигентных помещиков следы крепостнических замашек в манере говорить и вообще держать себя с крестьянином. Сама жизнь постепенно без потрясений уничтожала ненужную грубость во взаимных отношениях людей. Во всяком случае, образованием профессиональных союзов, различных обществ защиты прав трудящихся в той или иной области, наконец, церковными проповедями, просто распространением среди нашей буржуазии чтения Евангелия, вообще рядом культурных бескровных мер всегда можно было бы с успехом достигнуть того уважения к личности человека, на которое претендуют революционные деятели. То же, чего достигли в этой области собственно большевики потрясением всех основ гражданской жизни опять-таки свелось лишь к форме, к бумаге. Прислуга, шоферы, извозчики, кондуктора стали грубы со всеми, но не добились вежливого обращения с собою; всюду слышится слово «товарищ» и ему сопутствует ряд обычных площадных ругательств. Чиновничество большевиков прославилось своим хамством в такой Л. 443. мере, что даже «Киевские советские известия» писали, конечно, безуспешно о необходимости унять «совбурав» и «совбар», т. е. советских буржуев и барышень. На собраниях домашней прислуги ее всячески развращали; ей рекомендовалось подслушивать о чем разговаривают «господа», ни за что не быть им благодарными, а ненавидеть их м т. д. Наименее устойчивые и честные из прислуги делали доносчиками, наживались на предательстве или лжи. Масса же прислуги, к изумлению большевиков, подобно крестьянам, оказалась в стане их врагов. Большевизм лишил, в конце-концов, эту массу приличного заработка, закрыв рестораны, запугав и разогнав буржуазию. Знаменитая психопатка Коллонтай выступала при мне в Киеве на митинге прислуги и говорила о том, как последняя должна относиться к ее врагананимателям и какие права (музыка, танцы, театр и т. д.) отвоевала революция для кухарок, горничных и т. п., а последние или смеялись громко по поводу сумасшедших речей этой защитницы их прав, или хором кричали: «верни нам наши места».

Итак, мне лично, кроме того, что «революция — не менует», кроме голословных заявлений, что все-таки народу будет лучше, что кончилось



высокомерное обращение с простыми людьми, ни разу не пришлось выслушать ни одного веского слова в защиту системы большевиков; ни разу и нигде я не видел сколько-нибудь положительных плодов их творчества. Склонен объяснить это я, помимо неприемлемости жизнью самой теории коммунизма, еще и наличием в исполнительных органах большевизма массы евреев, т. е. элемента, по моему глубокому убеждению, основанному на продолжительных наблюдениях, абсолютно неспособного к какой-либо созидательной работе, вообще ни к чему, требующему здорового таланта, ума или воли, эта нация как бы создана только для посредничества (торговли) и репродукции чужих произведений (музыканты-исполнители); творческо-организационная работа ей совершенно не по силам; у еврейства никогда не будет своего государства. В нашей усадьбе жилось мирно до расквартирования в ней какой-то воинской части во главе с приличным старорежимным полковником; последнего окружали однако различные «товарищи», между прочим, какой-то полуинтеллигентный тип, гордо носивший университетский значок, несмотря на отмену советскими властями всех прежних знаков отличия.

Л. 444. При «офицерах» состояли, как всегда «советские барышни», под видом переписчиц и канцеляристок. По словам дворника, который не выходил из офицерской канцелярии иначе, как плюнув с выразительной брезгливостью на пороге дома, эти «барышни» обычно проводили время, сидя на коленях у офицеров. На столах их комнат виднелись всегда громадные букеты цветов, коробки конфет [так в тексте], различные закуски. Несмотря на сильную уже дороговизну продуктов «барышни» бросали иногда собакам 3. по фунту чайной колбасы; она стоила тогда несколько сот рублей за фунт; это не могло не возмущать прислугу, и даже младший дворник — молодой парень, быстро по своей хулиганской манере подружившийся с офицерами, и тот радостно прислушивался к возобновлявшейся канонаде и шептал мне: «никак опять гром, верно к перемене погоды». Радовался он также весьма искренно, впрочем, как и все мы, начиная от квартирантов и кончая прислугой, когда офицеры «на всякий случай», как говорили они, изучали заборы, колодцы и всякие строения в усадьбе «на предмет обеспечения себе способа срочно скрыться». Это нас обнадеживало в непрочности положения большевиков.

При «офицерах» мне стало труднее, не навлекая на себя подозрений, разгуливать без дела по усадьбе. Надежда на скорое исчезновение большевиков меня оставила. Слишком сильно было разочарование, когда подошедшие под самый Киев петлюровцы были отброшены и на «фронте» установилась тишина; разочарование было тем сильнее, что в эти дни приходили ко мне друзья, строили планы, как, в каком направлении уезжать во время переполюха в городе, просили меня подождать два, три дня, так как комиссары, мол, сидят уже в вагонах. Долго после этого по вечерам выходил я во двор прислушиваться к пушкам, и все не верилось, что они замолкли совершенно. После этого произошло одно обстоятельство, которое окончательно укрепило меня и в ранее возникавшем иногда намерении выбраться из Киева.

Хозяин усадьбы пригласил семью З., а с нею и меня, на блины; я давно не был в такой сытной, уютной обстановке, которую предъявляла из себя столовая гостеприимного хозяина; блины, икра, вино заставили меня на время забыть о моем подпольном житии. Во время оживленного разговора, хозяйка дома сказала, обращаясь ко мне: «а я ведь до сих пор не знаю вашего имени отчества». Машинально я назвал свое настоящее имя; среди З. произошло замешательство, и жена З. настолько растерялась, что взволнованно проговорила: «нет, нет, вы ошиблись; вас зовут не так», и назвала мое подложное имя и отчество. Я объяснил, что под влиянием давно не виданного обеда, я перепутал даже свое имя отчество. Объяснение было достаточно наивно, и хозяин дома, сидевшая со мною рядом, хитрыми, еврейскими глазами вскользь посмотрел на меня. На другой день, по какой-то странной случайности, именно когда я стоял в саду усадьбы с ее хозяином, к нам издали стал присматриваться какой-то господин и вдруг громко крикнул: «Владимир Федорович, вы ли это; какими судьбами вы здесь?» Я еле удержался от смеха, когда увидел выражение лица хозяина, на нем отражалось и неподдельное изумление, и желание показать, что он ничего не заметил; я совершенно спокойно ответил подошедшему к нам господину, оказавшимся знакомым присяжным поверенным, что он ошибается, что мы не знакомы; тот с нескрываемым изумлением, отошел от нас, но беседа моя с хозяином, конечно, не возобновилась. В тот же день мне удалось переговорить с присяжным поверенным: я посвятил его в свое положение и узнал от него, что кое-кто из нашей усадьбы знает уже о моей службе при гетмане. Ясно было, что дальше оставаться здесь было для меня не безопасно. Я решил уехать за границу — в Берлин, где находились некоторые мои знакомые. В то время поляки подступали к Минску; попасть во время в этот город и быть, таким образом, отрезанным от большевиков, являлось для меня первой задачей. Затруднение заключалось в моем безденежье: у меня оставалось всего несколько тысяч рублей. Мне приходилось жить, продавая через знакомых кое-что из одежды, которая хранилась у них. Ценилась простая одежда чрезвычайно высоко; например, за парусиновую гимнастерку, купленную мною в 1915 году в Люблине за 35 рублей, я выручил — 800, больше чем за штатский и мундирный фраки, за которые никто не давал больше, чем по 300 рублей. Форменный фрак мой купила на базаре какой-то хохол; весь базар гомерически хохотал, когда хохол в широкой соломенной шляпе и бесконечных шароварах оказался наряженным во фрак с золотыми, украшенными двуглавым орлом, пуговицами, но он совершенно хладнокровно объявил: Л. 446. «ни, це добро» и пошел с базара показаться в новом наряде своим односельчанам.

После разных хождений по советским учреждениям моих друзей с моим паспортом, я получил документ на право поездки по семейным делам в северо-западные губернии и в апреле 1919 года отбыл в «Берлин». Мой финансовый расчет был построен на том, что до занятия поляками Минска пройдет не более двух недель, а затем на переезде в Берлин я получу субсидию от какого-либо из своих заграничных знакомых. Хотя эта попытка эмигрировать оказалась безуспешною и ничего мне не дала кроме

некоторых неприятных переживаний, но возможно, что она спасла меня от смерти в чрезвычайке, так как после моего отъезда, подобно тому, как было и с первой моей квартирой у С., усадьба, в которой проживал З., подверглась неоднократному нашествию агентов чрезвычайки, приведшему к гибели бедного З. Перед казнью он успел прислать своей жене обручальное кольцо, как знак предстоящей его смерти.

На вокзале, на котором я не был более года, происходило какое-то вавилонское столпотворение, от которого я, привыкнув к затворнической жизни, почти потерял голову; шел машинально со своими двумя узлами туда, куда тащила меня за собой грязная, ругающаяся площадной бранью, толпа. В ожидании поезда в течении более часа я сидел на платформе с каким-то старым евреем; моя всклокоченная, ни разу не стриженная борода, с пейсами под ушами сблизила меня с этим евреем; он хватал меня за колено и непрерывно патетически что-то рассказывал мне на жаргоне с интонацией, которая указывала, что он ждет одобрения сказанному; он, видимо, поносил современные железнодорожные порядки. Я по временам, кивая головой, вставлял в его речи «о», и он после этого впадал в полный восторг и еще более усиливал свои lamentации. Для меня это собеседование было, конечно, весьма кстати, так как освобождало меня от какой бы то ни было опасности быть узнанным кем-нибудь из «краснокрестных товарищей». Когда подошел поезд, большинство вагонов, как мне потом приходилось наблюдать постоянно на «советских» железных дорогах, оказалось запертыми: они предназначались исключительно для власть имущих. Для публики имелось всего два вагона, и толпа с диким гамом и толкотней бросалась к их дверям, окнам и на крышу; тотчас же начиналась стрельба красноармейцев, чтобы заставить пассажиров очистить крыши. Если бы в старое, даже военное, время не целый поезд, а хотя бы половина его отводилась различным сановникам, воображаю силу общественного гнева и крика печати по этому поводу. Почему-то, наблюдая картину новых железнодорожных порядков, я вспомнил сценку на станции Киверцы, откуда идут по узкой колее поезда на Луцк. Здесь приходилось ожидать поезд ночью несколько часов; публика обычно нервничала и осуждала железнодорожные порядки; говорилось, конечно, обычное: «это только в России возможно». Поляк-помещик и французик комиссионер изумлялись долгому ожиданию, и первый, выражая на своем лице полное презрение ко всему окружающему, ко всему русскому, прогнусавил: «chez eux se n'est pas la tabatiere, qui sert le nez...»<sup>1</sup>. Француз чрезвычайно обрадовался, хохотал, кивал головой, признавая, видимо, что при «царизме» не может быть хороших железных дорог, не зная, или забывая, что его соотечественники за 250 рублей в одиннадцать дней совершали поездки от Парижа до Тихого океана с удобствами, о которых не могли раньше и мечтать, что всю Европейскую Россию — от Одессы до Петербурга можно было проехать, имея спальное место, за каких-нибудь 15–20 рублей. Сожалея, что

---

<sup>1</sup> «У них не табакерка служит носу» — вероятно, по смыслу, первая часть словицы, вторая часть: «а нос табакерке».

сейчас со мной нет этих двух европейских критиков, чтобы они могли на себе испытать удобство «табакерки» после падения Царского режима, я, без всякого участия своей воли, считая, что мне в поезд не попасть, как-то бессознательно, толкаемый в спину провожавшим меня приятелем, упустив в толпе свой узел, очутился в вагоне и первое время даже не верил тому, что я не на платформе. Потеря части багажа была для меня весьма чувствительна; другой узел мне подали в окно. Под шум, выстрелы, вопли оставшихся на платформе, поезд тронулся. Я думал, что расстанусь с Киевом, если не навсегда, то на много лет; жадно всматривался в его церкви, в родные места за Днпром, где среди холмов была колокольня Китаевского монастыря и близ нее скрывалась в зелени наша дача; там жила моя старая мать, с которой мне нельзя было проститься, чтобы не навлечь на нее месть безумцев; уже в изгнании я узнал об одинокой ее смерти в 1922 году от сыпного тифа.

В целях предоставления пассажирам возможно больших неудобств в пути и чтобы таким путем, очевидно, отучить их от езды по железным дорогам, большевики выдавали билеты только на небольшие расстояния; поэтому от Киева до Минска мне не выдали билета, а разъяснили, что в Нежине я должен взять билет Бахмача, там выдали билеты до Гомеля, отсюда до Минска. Таким образом, на коротком сравнительно расстоянии требовалось выходить из поезда три раза, становиться в длиннейшую очередь и наново брать приступом вагон, так как на каждой станции толпились пассажиры в ожидании редкого поезда. В Нежине я решил подчиниться существующим правилам, отправился к кассе, но увидел у нее такое скопище людей, что понял полную невозможность получить билет ранее отхода моего поезда и совершал дальнейший свой путь, как и большая часть пассажиров, «зайцем», т. е. бесплатно. Когда я входил в вагон, в дверях отделения, где было мое место и вещи, стоял грузный, широкоплечий, рыжий кондуктор с тупой физиономией. Он загоразивал весь проход; я попросил разрешение пройти, он не двигался с места и ничего не отвечал; после повторных моих просьб он обернулся ко мне, невероятно злобно осмотрел меня всего (я продолжал носить воротничек и галстук, так как во всяком товарищеском костюме я имел вид переодетого «буржуя») после злобного осмотра кондуктор закричал: «вон отсюда». Никакие мои попытки показать документ, ни объяснения не приводили ни к чему. Кондуктор настаивал, без всяких объяснений, на моем удалении из вагона. Очевидно, он органически не выносил интеллигентных лиц. В отделении, в котором я ехал, сидел член Киевского Совдепа типа старого подпольного социалистического деятеля; ему, видимо, была не по душе происходящая сцена, но даже он, высший «чин» советской власти, не решался прекратить произвол кондуктора. Не решались попросить за меня и офицеры красной армии, занимавшие служебное отделение, с которыми я познакомился случайно, в поисках на всякий случай моего потерянного узла с вещами; к моему изумлению и радости, он действительно оказался у них под скамейкой: они подобрали мой узел при входе в вагон. Я по поводу находки угостил их закусками и вином. Это были чрезвычайно циничные, но в

общем добродушные молодые люди. Такова сила хама в большевистском раю, что никто пикнуть не смеет, когда разойдется хам. Я запротестовал, что у меня в вагоне багаж. Хам разрешил его забрать, с тем только, чтобы я немедленно убирался вон. Я пошел за багажом и сел с ним на полу, скрывшись таким образом от преследований озверевшего кондуктора. Он бегом оглядел всех пассажиров, и решив, что я исчез, с грубым довольным смехом обратился к офицерам: «ловко выставил буржуя»; те одобрительно и по-добострастно смеялись. Хам разместился в их отделении, пришел туда же другой кондуктор, они чего-то выпивали и в открытую дверь мне были слышны все их разговоры. Я не представлял себе, что тупость и цинизм людей могут достигать таких пределов, как после сумбурной обработки малоразвитой человеческой души учением большевиков. Этот самый хам, радовавшийся возможности унижить «буржуя», т. е. в его представлении дармоеда, до глубокой ночи рассказывал своему товарищу по службе и офицерам, под их одобрительные возгласы, как, когда и где ему удавалось обокрасть казну; неожиданно совершенно он закончил свои повествования похвалой старому режиму, когда красть можно было меньше, а жилось лучше: «да, от одних свечных огарков был хороший доходец, а теперь вот ездим в темноте», доносилось до меня сквозь одолевший уже меня сон. Ни одной хорошей мысли, ни одного слова о родине, о народе — все только о личной наживе. И такие разговоры преследовали меня весь путь, когда в вагоне попадались горожане — кондуктора, шоферы, разные мещане. Ясно чувствовалось, что имеешь дело с людьми, души которых, еще раньше испорченные легким налетом городской культуры, сгнили окончательно под влиянием большевизма. Это самый опасный, самый зловредный тип адептов большевизма. Будущим устроителям России, если они пожелают оздоровить атмосферу русской городской жизни, потребуется, отбросив всякий сентиментализм, поступить с этими отбросами человечества, как с сорной травой; чтобы пресечь распространение заразы, надо иметь силу воли пожертвовать сразу же, по крайней мере, несколькими десятками тысяч жителей. Остатки уцелевших хамов тогда стушуются, не будут страшны в смысле распространения заразы. Совсем иные впечатления я получал, попадая в вагоны с сельскими обывателями; так, например, я ехал от Бахмача до Гомеля среди мешочников и мешочниц. Здесь тоже преобладали эгоистические Л. 450. интересы, но обыкновенные, здоровые, не извращенные, а просто хозяйственные. Разговор пересыпался не бессмысленной площадной руганью, а меткими, часто полными юмора остротами. Мой галстук и воротничек не привлекали к себе никакого внимания; большинство величало меня, за мою почтенную бороду, «отец». Более пожилые крестьяне заговаривали со мною, таинственно, шепотом расспрашивали о Колчаке, вздыхали и проклинали большевиков. «Эх, нельзя по душам поговорить», сказал мне один псковский мужик, ездивший на юг за солью, и показал глазами на еврея с звездой на груди. Таких генералов от коммунизма за свое недельное странствие в вагонах третьего класса и теплушках я встречал довольно много. Они старались обычно подражать манерам настоящих генералов. Это им удавалось в такой же

степени, как среднему артисту-еврею удастся в комедии или водевиле дать тип русского генерала; похоже, но утрировано; шарж, а не правда; под генеральским мундиром легко разгадывается еврей со всеми его смешными для русских особенностями. Комиссар со звездой, на которого мне показал псковитянин, особенно ярко запечатлелся в моей памяти. Он смеялся слегка в нос с деланной небрежностью; говоря что-нибудь сопровождавшим его товарищам и молоденькой еврейке, он не делал оживленных еврейских жестов, а коротким взмахом руки в воздухе, как бы ставил точки в конце своих фраз, подчеркивая, что возражать ему было бы неуместно. Он действительно напоминал наших старорежимных военных начальников, у которых привычка к власти, командованию и требованиям дисциплины вырабатывала особую решительную манеру говорить, смеяться, ходить, естественно, а не искусственно, проникала постепенно во все их существо. С течением многих лет власти, возможно, что и этот еврей, и многие другие еврейские генералы сделались бы естественны, сейчас же они были только смешны, а когда вспоминалось, что ничего от старого режима, кроме «генералина», ни знаний, ни опыта, ни организационных способностей, ни простой честности они не взяли, то становилось, конечно, противно смотреть на этих ломающихся людей. На иных, в выражении их лиц, ясно были видны следы бессмысленно пролитой и проливаемой ими крови; от таких, после нескольких минут наблюдения, приходилось отворачиваться; слишком уж большое отвращение они возбуждали, ехавшие со мною мужики и бабы никакого внимания на генералов не обращали; они заняты были своими разговорами на злобу дня, где выбрасывать мешки, чтобы не попасть под облаву. От них я узнал, что 50 процентов провозимого всегда обрекается на гибель, для дачи взяток и в виду грабежей. Только когда «генерал» вынимал или покупал какую-либо особенно редкую, дорогую закуску, на него устремлялось две-три пары злых глаз на минутку. Из всей крестьянской массы пассажиров нашей теплушки выделялась девушка-мещанка лет шестнадцати на вид; широкоскулая, с маленькими круглыми беловато-серыми глазками, с носиком в виде небольшой засаленной пуговки, с тощими рыженькими косичками, какая-то вся грязная, с грубо-пискливым голосом, она была отвратительна вообще, в особенности же неуловимыми чертами чисто животной жестокости, какой-то преступности. Такие типы тянутся к большевикам совершенно инстинктивно, вероятно, по сродству душ. Увидя в руках «генерала» торт, девушка села у ног еврейской компании, помещавшейся на досчатой перекладине и начала всячески развлекать «господ». Она им пела отчаянным фальшивым голоском белорусские песни, рассказывала грязные анекдоты, показывала карточку своего жениха и т. п. «Генерал» был очень доволен «такой общительностью народа» и по временам бросал сверху грязной девушке кусочки торта. Она подобострастно смотрела на еврейку — подругу или сестру «генерала», восхищалась открыто ее красотой, и та, под влиянием лести, закатывала свои выпуклые глаза и тоже поощряла пение и рассказы ее поклонницы. Крестьяне посматривали на девку с нескрываемым отвращением, а одна старуха прошептала мне со страшной злобой: «я знаю эту дрянь»;

служила в Лунинце у хороших господ одной прислугой; молодые были — муж офицер; сама подлая, когда они скрывались от большевиков, разыскала их и за деньги привела большевиков; при ней их и расстреляли». В маленькой сценке в нашей теплушке, в этом дружеском слиянии еврейского генеральства с русской преступностью, выявилась для меня вся подлинная сущность большевизма.

Приходится ли удивляться, что большевизм сравнительно так продолжителен в России. Разве не мощная сила получается от соединения безмерной жестокости с такой же преступностью, стоящей на уровне физического и нравственного вырождения или просто безумия. Меня перестало изумлять, что при «генералах», да и просто на Л. 452. всякий случай, все откровенные разговоры по поводу существующих порядков велись шепотом; ведь за всякое неосторожное слово можно было легко угодить в чрезвычайку, хотя бы для того, чтобы ее агенты, как это было весьма распространено, могли бы получить откуп. Ведь в Киеве даже за похвалы таланту Фигнера, после его скоропостижной смерти, советская пресса угрожала карами; она боялась, как бы «Царскому певцу» друзья и поклонники не поставили памятника на могиле. Громко, нагло говорилось только о том, что было в духе правящих властей. Я помню, как толстая, откормленная мещанка с высоты своих подушек и многочисленного багажа провозглашала на весь вагон, пристально смотря на мой галстук и явно провоцируя меня на возражения: «только бы этого проклятого пса Колчака поскорее бы наши разделали». Ни одного сочувствующего голоса не раздавалось в вагоне, никто ее не поддержал, а «интеллигент» семинарского вида и акцента, вероятно бывший сельский учитель, чтобы вовлечь меня в разговор на другую тему, обратился ко мне с жалобами на дурной воздух в теплушке: «казалось бы, говорил он, необходимым в подобных путешествиях иметь с собою, как на фронте, противогазовые маски, ибо здешние газовые атаки не уступают по силе германским».

Страх быть в чем-то заподозренным и обвиненным заставлял людей бояться даже тогда, когда ясно было, что к ним нельзя придраться. Например, на одной из станций в нашу теплушку пробрался какой-то еврейчик — довольно комичный балагур; не нем была странная смесь военной одежды со штатской; по его словам, он возвращался из австрийского плена через Киев. Увидев еврейский генералитет с различными закусками, он тотчас же начал занимать его различными прибаутками, за что ему перепали какие-то кусочки. Комиссар начал его расспрашивать, как и откуда он едет; вдруг неожиданно задал вопрос: «ну, а по какому же документу ты живешь?» Тот вынул какую-то бумажку, комиссар бегло ее пробежал, встал, пристально посмотрел на еврейчика и строго протянул: «вот как, гетманская печать; не дурно; попался!» Еврейчик стал бледен, как стена, начал что-то скороговоркой болтать в свое оправдание, но комиссар величественно-добродушно рассмеялся, похлопал его покровительственно-добродушно по плечу и дал совет поскорее Л. 453. заменить документ; однако, вероятно из предосторожности, еврейчик исчез все-таки при ближайшей остановке поезда. Кто знает, чем бы кончилась эта история с гетманским документом, если бы он бел предъявлен не единоплеменником комиссара.

Как запуганы люди в большевистском раю, я мог убедиться очень ярко при случайной встрече в пути с одним симпатичным господином, с которым я, несомненно, встречался ранее, вероятно в Управлении Красного Креста Западного фронта. Мы с ним разговорились, внушили взаимное доверие, узнали, что оба едем в Минск и решили от Гомеля ехать вместе, чтобы помочь друг другу занять места и втащить багаж. Но меня так мучила мысль, что мы где-то встречались ранее, что я не выдержал и начал осторожно наводить разговор наш на время войны: в конце концов, я задал вопрос, не работал ли когда-нибудь мой попутчик в Земском союзе. Я рассчитывал, что он ответит: «нет, я служил в Красном Кресте», и тогда я буду уверенно знать, с кем я имею дело. Услышав мой вопрос, знакомый незнакомец слегка смутился, отрывисто сказал: «нет, нет», и с этих пор начал явно меня избегать. На вокзале в Гомеле, когда я его разыскал и спросил, каким поездом мы едем в Минск, он пробормотал: «простите, я очень занят», и через несколько минут я видел, что как он вскочил в теплушку поезда, шедшего в обратном от Минска направлении. Мне было очень досадно, что я так легкомысленно напугал человека, явно преследовавшего те же цели, что и я спастись от большевиков, а вместе с тем и противно, до какой степени трусливой забитости и взаимного недоверия могли дойти русские люди.

В Гомеле я пытался выпить чаю, но длинная очередь у единственной оловянной ложечки, привязанной на бичевке у самовара, которой все размешивали сахар, отбила у меня охоту пить чай; с трудом я достал себе за 20 рублей (тогда это были большие деньги) тарелку зеленых пустых щей и с жадностью, без хлеба, стоя у бывшего закуского стола проглотил их в несколько секунд. На вокзале я узнал неприятные новости, что пассажирских поездов на Минск нет, что туда отправляют только войска, что там идут многочисленные аресты польских помещиков, съехавшихся из всего северо-западного края в ожидании занятия города польской армией. Я решил выждать Л. 454. событий в Гомеле, расспросить местных евреев о положении дел. Найдя себе комнату за баснословно дорогую цену (кажется сто рублей в день, включая кувшин молока и освещение) в одной тихой и симпатичной еврейской семье, я, с сознанием большей, чем в Киеве свободы, отправился бродить по городу; вид его был весьма уныл вследствие разоренных, забитых магазинов, гостиниц и проч. Для публики имелась только одна, очень дорогая, столовая; громадный же штат служащих имел отдельную, более дешевую, столовую; попасть в нее обыкновенному смертному нельзя было. Такое положение обеспечивало агентам чрезвычайки следить за всеми вновь прибывшими, которые волей-неволей должны были появляться в единственной столовой города. Я об этом не подумал и сразу же нарвался на преследование, заставившее меня бежать из Гомеля. Старые евреи мне уже успели много рассказать об ужасах местной чрезвычайки, между прочим и тот еврей, который горячо мне что-то рассказывал на Киевском вокзале. Невероятно был потрясен он, когда при радостном приветствии его меня на улице, я вынужден был объявить ему, что ни одного слова из еврейского жаргона, кроме «ё» и «вуть» я не знаю



и не понимаю. Старое еврейство, поскольку мне приходилось наблюдать его в течении двух дней, ненавидело большевиков и понимало, к каким последствиям приведет в конце-концов работа еврейской молодежи в качестве различных комиссаров и т. п. Запуганы евреи были до последней степени. Я как-то зашел в один дом, где собрались виленские евреи, неожиданно застрявшие в Гомеле, вследствие занятия Вильна поляками; мне интересно было расспросить о условиях пути из Минска в Вильно. В разгар нашей беседы мы увидели в окно комнаты какую-то военную фигуру; разговор замолк, когда в столовой раздался стук сапог. В комнату вошел юноша во френче; он интересовался, нельзя ли в квартире реквизируют одну комнату под амбулаторию. Все мои собеседники, при входе юноши в военной форме, немедленно вскочили и стояли на вытяжку все время, пока он оставался в нашей комнате. Старший еврей несколько раз умоляюще посмотрел на меня, всей своей фигурой и взглядом выражая мольбу ко мне не предавать их и себя и встать. Когда юноше исчез, бедные евреи увидели во мне, очевидно какого-то героя, который очень рисковал только что, и Л. 455. старший из них горячо и даже как-то заискивающе пожал мне руку, а затем при уличных встречах особенно низко раскланивался со мной. Когда вспоминаются мною эти бедные запуганные люди, я не могу отделаться от печальной мысли об их судьбе: неужели русские люди не сумеют ввести свой справедливый гнев против еврейских комиссаров в справедливые границы?

Мой «провал» в Гомеле произошел при таких обстоятельствах. На следующий день моего приезда сюда было воскресенье; пол года я не был в церкви и обрадовался возможности пойти, без страха встретить знакомых, в соборе. По дороге, проходя мимо какого-то большого дома, я заметил группу лиц и спросил у них, как пройти к собору; один из них, как мне показалось на чисто русском языке ответил: «мы Богу не молимся», на что я мимоходом возразил: «А я человек старых правил» и услышал уже в спину сказанные мне слова: «и прежде не все посещали церкви». Этой встрече и этому разговору я, понятно, не придавал никакого значения, так как постоянно забывал, что живу среди сумасшедших, а не здоровых людей.

Простояв архиерейское служение, какое-то тоже запуганное, мало торжественное и безлюдное (тогда еще многие боялись, вероятно, ходить в церковь), я отправился обедать. Только что я сел за столик в убогой обстановке общественной столовой, как в нее вошел мой утренний собеседник. С противной плотоядной улыбкой, по которой я теперь уже сразу узнал в этом маленьком человеке, в общем хорошо владевшем русским языком, еврея, он вежливо попросил разрешения подсесть за мой стол. И тут начался форменный допрос меня: откуда приехал, про каких делам, где остановился и т. п. Я сначала отвечал, полагая, что это любопытный еврейчик, но потом его назойливость меня взорвала, и я резко заметил ему, что он задает мне вопросы так, как будто производит официальный допрос, что мне скрывать о себе нечего, но что я могу потребовать от него документов, дающих ему право допрашивать. Еврейчик с полной, но гаденькой любезностью начал вынимать какие-то бумаги и объявил, что он предсе-

датель местной следственной комиссии. В это время, сидевший за другим столиком офицер красной армии, неожиданно вспыхнув, начал упрекать комиссара в том, что он никому не дает спокойно пообедать, вчера приставал к приезжей даме, сегодня ко мне. Тут Л. 456. воочию пришлось мне впервые столкнуться с одним из представителей безумного большевистского садизма: маленькие глазки комиссара приняли какое-то непередаваемо хищное выражение; таких глаз, соединявших в себе явные признаки сумасшествия и кровожадности, мне еще не приходилось видеть. Он змеиным шепотом сказал офицеру, делая ударение на первом слове: «Господин офицер, вашей братии прошло через мои руки очень много; берегитесь и не вмешивайтесь не в ваше дело». Офицер поспешил уйти из столовой. Комиссар записал мой адрес; чтобы не повредить себе, я назвал точно улицу и квартиру, где остановился. В тот же день меня ждала другая большая неудача, из достоверных источников я узнал, что поляки ушли из Минска и там свирепствует террор. Ехать туда с моими скудными средствами, не зная не придется ли прожить там несколько месяцев, было рискованно; оставаться без дела в Гомеле, где все было на виду и где я уже обратил на себя внимание следователя, было не менее рискованно. Не оставалось другого выхода, как вернуться в Киев, где у меня были, по крайней мере, друзья и знакомые.

Ночь я провел крайне тревожно. Мне казалось, что еврей непременно пожелает произвести у меня обыск. Всю ночь я просыпался от малейшего шума на улице или во дворе. Мысль быть арестованным в чужом городе, где некому было даже узнать о моей судьбе, чрезвычайно угнетала. Утром я немедленно отправился на городскую станцию за билетом, но к большому моему огорчению, билета на Бахмач мне не выдали, хотя в моем путевом удостоверении и было указано право возвращения в Киев. Как ни неприятно было, но пришлось отправиться за разрешением в местную железнодорожную чрезвычайку. Потом я был доволен, что лично побывал в одном из типичных учреждений большевиков, от которого зависело главнейшее право граждан — передвигаться в пределах своей страны, и, таким образом, получил возможность лично судить, до каких пределов доходит творческое бессилие и тупость новой российской администрации.

Вокруг чрезвычайки стояла, сидела, лежала толпа народа, преимущественно крестьян. Некоторые, по их словам, дежурили уже в очереди второй день, тут же провели и ночь. Среди крестьян Л. 457. были такие, которым нужно было переехать из одного уезда в другой — сделать при старых порядках пол часа пути; они не ехали, а ожидали только права на то, чтобы поехать, по двое суток. При мне пришел какой-то поезд из Минска; на нем ехали какие-то ученицы или курсистки на какой-то съезд или курсы; не помню подробностей, но помню только, что у всех них были официальные «срочные» пропуска, что их поезд отходил через час, а швейцар чрезвычайки категорически отказался пропустить их вне очереди, и, несмотря на упреки их, что они пропускают поезд, что им негде ночевать, упорно твердил: «ну, поедите завтра, послезавтра». Были такие, которые плакали; может быть у них умирали близкие люди, рушилось какое-нибудь дело,

— чрезвычайке, этому учреждению враждебному людям, все это было в высшей степени безразлично. Скольکو ненависти было в крестьянских вздохах на площади вокзала — передать трудно. Я ни малейшего желания не имел ночевать на улице и направился к швейцару, большому, надменно-му. По типу это был старый фельдфебель или старший железнодорожный жандарм. Над ним висело объявление; «Все советские служащие должны обращаться с посетителями вежливо». Кажется, лучшей насмешки над советской бумажностью, заменявшей живую действительность, трудно было себе представить, так как то, что произошло на моих глазах, даже меня, допускающего у большевиков всевозможные чудачества, поразило своей неожиданностью. Передо мною подошел к швейцару какой-то еврейчик и начал: «товагышь», он успел выговорить только одно это слово. Я увидел, как сильная рука швейцара подняла еврейчика в воздух, раскачала его и, дав ему тумака в шею, при одновременном пинке в место несколько ниже поясницы, сообщила ему летательное движение такой силы, что несчастный проситель пролетел над лестницей и над частью площадки, не прикасаясь ногами к земле; в воздухе раздавались его слова: «товагышь, товагышь, ну что же вы такое изделали». С равнодушным презрением и выражением даже какой-то гадливости на лице продолжал величественно стоять швейцар у дверей чрезвычайки. Я подошел к нему и властно спокойным тоном сказал ему, что мне надо получить срочный пропуск в виду спешных дел; он внимательно посмотрел на меня, на лицо, воротничек, галстук и, открывая дверь, сказал: «пожалуйста». В глазах его мелькнуло что-то Л. 458. такое, что и в молчании объединяет людей и заставляет их понимать друг друга: мы оба ненавидели «товарищей» одинаково. Ненависть и в крестьянстве, ожидающем на площади пропусков, ненависть и у первого в дверях чрезвычайки служащего; только вынужденный авиатор-еврейчик не догадался какая накопляется и здесь и у каждого большевистского учреждения гроза и наивным искренним криком вопрошал: «товагышь, что вы делаете?»

Какая-то девица легко поставила на моем документе разрешительный штамп и я снова отправился на городскую станцию. Кассир любезно, увидя штамп чрезвычайки, сказал: «вот теперь вам, вероятно, можно выдать билет», и начал внимательно рассматривать какой-то список с фамилиями, водя по каждой строчке пальцем. Я вспомнил про рассказы гомельских евреев, что бывают случаи, когда железнодорожная чрезвычайка дает разрешение, а следователи губернской чека сообщают от себя на станции кого не следует пропускать из города, как лиц подозрительных. У меня тотчас же мелькнула тягостная мысль: что если злой еврей распорядился не выпустить меня из города? Чтобы показать, что меня не волнует список, я спросил кассира, нельзя ли мне получить билет прямо до Киева. «Не знаю», как-то машинально протянул кассир, не отрываясь от чтения списка; затем, положив его, добавил: «подождите-ка минуточку», и пошел вглубь комнаты, к висевшему на стене телефону; по дороге он, улыбаясь шепнул что-то своему помощнику и еле заметным движением головы показал ему на меня. Тот подошел к дверце кассы и, тоже улыбаясь, внимательно посмотрел на меня; мне стало страшно; когда зазвонил телефон, я уже по-

думывал незаметно удрать со станции; у меня была почти уверенность, что кассир говорит обо мне со следователем. Однако, я пересилил себя и остался, выжидая событий. К радости моей, кассир, не дождавшись ответа по телефону, подал мне билет до Бахмача, сказав, что до Киева выдать мне билет не имеет права. Соображая потом, что же такое произошло, я сообразил, что кассир по телефону хотел справиться именно о том, можно ли продать билет прямого сообщения прямо на Киев, а помощнику своему показал на меня, как на лицо, странствующее с явно подложным документом, в виду полного несоответствия моей внешности с показанной в документе профессией какого-то счетовода. Итак, я едва не стал жертвой излишней моей подозрительности, Л. 459. развившейся во мне под влиянием последних нервных переживаний.

На вокзале мне пришлось до посадки в поезд преодолеть еще одно препятствие. Не рассчитывая на долгое пребывание в Гомеле, я главную часть своего багажа сдал на хранение. Для этого меня направили к какому-то специальному комиссару, оказавшемуся крайне бестолковым еврейчиком. На глупейшие формальные переговоры с ним я потратил около часа; его же согласие требовалось и на обратное получение багажа. Нигде его в станционных залах ни я, ни другие уезжающие пассажиры не могли найти. Руганью и ропотом на власть даже по такому простейшему прежде, мелочному делу, как получение ручного багажа, сопровождалась наши поиски комиссара. Попасть в поезд мне опять удалось совершенно случайно, благодаря любезности каких-то солдат, которые впустили меня в их теплушку, прося сесть подальше от входа, чтобы не было видно моего штатского костюма среди воинской части; в обыкновенные поезда и вагоны доступа не было, за исключением нескольких счастливых, которые вскакивали в вагоны, действуя сильными кулаками.

Обратный путь мой в Киев был значительно медленнее и тяжелее. В Бахмаче, куда мы приехали часов в 12 ночи, нам пришлось простоять под моросившим холодным дождиком на перроне, в грязи выше щиколотки ноги свыше двух часов. Невозможность держать мешки в руках, заставила меня их положить в липкую грязь. Когда нам, наконец, открыли двери, началась совершенно невообразимая давка; всем хотелось обсохнуть и хотя бы ненадолго поспать на полу закрытого помещения. Я не в силах был тащить оба свои мешка в поисках места для ночлега и один из них передал на хранение какому-то на вид солидному и приветливому железнодорожному агенту. Когда утром я пришел за мешком, я по его гаденькой улыбке и бегающим глазам понял, что он меня обокрал; и, действительно, впоследствии я обнаружил пропажу из мешка многих вещей, в том числе сапога на одну ногу. Просторный пассажирский зал станции Бахмач, славившийся некогда своим прекрасным буфетом, представлял из себя громадный дортуар: буквально не было занятого места; спали не только на скамейках и на полу, но и на буфетной стойке, на карнизах буфетных шкапов и т. д. В буфете, как Л. 460. ночью, так и на другой день, имелся только громадный самовар с жидким кофе без сахара, да неизменная оловянная ложечка на веревочке, привязанная к ушку самовара. Буфетчик был из состава старой

вокзальной прислуги; со злобной ненавистью и презрением смотрел он на толпу и был резко груб со всеми, покупавшими кофе. Когда я, в состоянии сильного голода, спросил его на авось, нет ли в буфете какого-нибудь бутерброда, он даже ничего не ответил, только презрительно хмыкнул носом. От соседей по станционному полу я узнал, что некоторые в ожидании мест на поездах на Киев проживают уже здесь около недели, что среди них один пассажир даже умер от какой-то болезни, что питаться можно в харчевне пристанционного поселка, но и там большая очередь. Перспектива долгого сидения или вернее лежания на станции меня весьма смутила. Ночью, как на зло, очевидно под влиянием голода, мне приснился прежний Бахмач: столы с белыми скатертями, чистые лакеи, телячья отбивная котлетка с гарниром на блестящей сковородке.

Проснулся я к пяти часам утра в тяжелом довольно состоянии голода и усталости, под окрики двух матросов: «вставай, товарищ; будем мыть помещение; вставай, вам же потом самим лучше будет». И громадная толпа полусонных зевающих людей, преимущественно, солдат, которые еще недавно, будучи «самыми свободными в мире», избili бы всякого, кто потревожил бы их сон или отдых для какой-то очистки здания, т. е. для «буржуйных затей», покорно поднимались со своих мест и постепенно расходились, таща свой багаж. Я попытался получить разрешение остаться в зале, так как мне тяжело было перетаскивать свои мешки с места на место; сослался я на болезнь ног. «А, ну-ка, встань, отец», добродушно сказал один из матросов, «э, ноги у тебя прямые и ходить ты еще можешь». Когда я все-таки замешкался, рассчитывая остаться в зале незамеченным, матрос уже весьма строгим тоном добавил: «ой, смотри отец, будет плохо». Я понял, что шутить нельзя, и потащил свои мешки на перрон.

Эти матросы, во главе со старшим их товарищем — матросом в очень чистой рубахе, с красивым типично великорусским лицом северянина, были единственным светлым пятном на фоне моих наблюдений за большевистскими порядками. В них сказывалась способность Л. 461. нашего народа к установлению общественного порядка; их было всего человек пять на громадную толпу пассажиров, развращенную при этом безвластием Временного Правительства, и они спокойно, без суеты и бездарной бестолковости еврейских комиссаров, распоряжались этой толпой. При этом в них не было ничего нагло надменного; все пассажиры для них были равны, и мой буржуазный костюм не вызывал в них ни подозрений, ни злобы, обычных для городских мещан хулиганов. Здесь чувствовался уже маленький намек на то, какими путями в дальнейшем пойдет подлинный русский народ, когда сбросит с себя иго безумных утопистов.

Старший матрос, как мне пришлось вскоре убедиться, был беспощадно жесток, но жестокость эта не была чем-то психопатологическим, как например, у гомельского еврея следователя, а вытекала из объективных условий данного времени. На вокзале, во время отхода одного из поездов, поймали двух воров и доставили на расправу к этому матросу, как к комиссару станции. Один вор украл кусок хлеба, другой — золотые часы. Первого матрос отпустил, заявив толпе, что, очевидно, он сделал это от

голода. Второго, который во время задержания успел выбросить часы на рельсы и отпирался, хотя был уже известен многим, как профессиональный вор, подвергли порке, под общее одобрение толпы, теснившейся у арестантской комнаты. Как мне передавали, вор умер под ударами розог. Было противно видеть злобные лица некоторых пассажиров, которые по временам приходили сообщать своим знакомым: «уже еле дышит», «уже помирает» и т. д. Но какой все-таки в этой сценке заключался урок для тех, кто отметил, идя на встречу «народной совести», смертную казнь даже на фронте во время кровопролитнейшей войны, кто затем поносил всячески «буржуйные инстинкты» собственности.

Целый день я провел на перроне, пытаюсь попасть в какой-нибудь поезд на Киев; но почти у каждого вагона стоял страж, загораживавший вход и грубо заявлявший: «это служебный, частным пассажирам нельзя». Ночью тоже раза два приходилось тащиться с мешками на перрон при звуке звонков и шуме подходящего поезда. Я был уже в отчаянии, когда вдруг на следующий день часа в два раздался крик матроса: «Кто в Киев, поезд на третьем пути». Прямо не верилось ни глазам своим, ни ушам, когда я очутился в грязной теплушке и действительно поезд медленно потянулся на юг. Л. 462. Несмотря на апрель месяц, стало очень холодно, особенно по ночам. Ехавшие с нами солдаты то раскладывали костер прямо на полу теплушки, такой, что боялись порою, как бы не прогорел пол, то, задыхаясь в дыму, предпочитали мерзнуть и ругали тех, кто подал мысль о костре, чтобы часа через два-три снова, под влиянием нестерпимого холода, зажечь его. Тесно было так, что для того, чтобы иногда размять затекавшие ноги, приходилось вставать на несколько минут, опираясь руками на плечи соседей. Конечно, весь я был покрыт вшами и мучительно расчесывал себе тело. В таких условиях я провел много дней, в каком-то полубессознательном, полусонном состоянии. Единственное, что было приятно, это сознание большей личной безопасности, чем в Киеве или Гомеле; нервы мои отдыхали от постоянного ожидания обысков. В Нежине мы застряли на несколько дней; многие из моих попутчиков пересаживались в другие, обгоняющие нас служебные поезда, некоторые предпочли идти пешком. Стало просторнее; я впал в какую-то апатию, почти не покидал нашей теплушки и высыпался. Я так устал, что один факт остался для меня неясным, случился ли он наяву или приснился мне. Отчетливо помню, что к станции подошел санитарный поезд со знакомыми знаками Красного Креста; из него вышел худой врач, с небрежно наброшенной на плечи шинелью военного образца; когда он проходил через толпу солдат, смотря как-то поверх их голов, среди них начался радостный говор: «Ишь, смотри, настоящий Брусилов». Видно было, что время войны вспоминалось ими, как нечто славное и, по сравнению с современностью, хорошее. У меня мелькнула мысль, что в краснокрестном поезде могут находиться опасные для меня «товарищи». Я скрылся в теплушке. Все это было, несомненно, на Яву. Затем я вздремнул и явственно услышал, как кто-то вошел в теплушку, несколько человек, и один из них сказал: «О, да это Романов». Я полуоткрыл глаза и узнал одного из краснокрестных большевиков: решил положитьсь

на судьбу, снова закрыл глаза и заснул. Больше на станции я не встречал этого моего бывшего сослуживца, и так и не узнал, видел ли он меня или все это было плодом нервного утомления.

По дороге от Нежина до Киева меня очень заняли два юноши еврея из типа идеалистов, которые встречаются не так редко в Л. 463. еврейской среде, как это не принято у нас думать; этот тип нашел себе красивое отражение в произведениях Оржешко; он как бы пережиток библейских времен, сохранившейся, чтобы показать до каких пределов низости могут доходить представители одного и того же племени, когда они, отвращаясь от Бога, поддаются под исключительную власть материальных расчетов и классовой борьбы. Мои попутчики служили в отделе пропаганды и были еще так мало опытны, что не видели разницы между коммунизмом и христианством. В сущности они бессознательно проповедовали Евангелие. В свои духовные сети они улавливали очень молодого парня-хохла, который, как выяснилось из разговора, поступил добровольцем в красную армию. Проповедники внушали парню красоту альтруизма, отречения от личного имущества. Парень упорно защищал институт собственности и отрицал прелесть раздачи заработанного своим трудом имущества. «Ну, хорошо», говорил еврейчик, «если у тебя две пары сапог, а у другого ни одной, он бос, неужели ты не отдашь ему лишнюю пару?» Хохол при слове «сапоги» даже слегка обозлился, он, верно, вспомнил, как они теперь дороги и резко ответил: «Ни, не дам». После этого неудачного примера евреи уже никак не могли сбить упрямого хохла с повторяемой им все решительнее фразы: «Ни, сказал не дам и не дам, николи не дам». В виде последнего довода старший проповедник, теряя уже терпение, оттолкнул вдруг своего товарища и радостно воскликнул: «Постой, постой, он меня сейчас поймет». «Ну, вот слушай», обратился он к хохлу, «ты по доброй воле пошел в армию?» «Да». «Значит за коммунизм ты готов даже жизнью своей пожертвовать». «Д-да», как-то уже нерешительно протянул хохол, так как он прекрасно, конечно, знал, что в армию он пошел вовсе не для того, чтобы его убили, а чтобы пограбить и привезти домой, может быть, еще две пары сапог. «Ну, так неужели же тебе сапоги дороже жизни?», торжественно закончил проповедник. Хохол даже вспылал, покраснел весь и уже не сказал, а прикрикнул: «Не дам своих сапог». Еврейчики были очень опечалены своей неудачей.

В Киеве мои путевые мытарства не кончились. С версту пришлось тащить свои мешки до трамвая, так как поезд остановился не у городской станции; в трамвае была ужасающая давка. Когда я подъезжал Л. 464. к месту назначения, я заранее один мешок выбросил в окно трамвая на мостовую; выходя с другим мешком, я тотчас же увидел как из различных дворов в перегонку бросились уже подозрительные типы, чтобы схватить мои вещи. Грабеж стал в городах какой-то привычкой, и я вспомнил о бахмачском матросе, подумав, что только такими приемами удастся, вероятно, первое время искоренять массовую склонность к чужому, теми приемами, которые хорошо и давно практиковались нашими крестьянами в отношении конокрадов.

Я поселился на тихой окраине города, в районе одного из холмистых кладбищ его. Это был мещанский район. Здесь часто раздавалось пение, пьяная ругань, музыка танцевальных вечеров, шла развратная жизнь, в то время, как по ночам разъезжали автомобили, арестовывали кого попало, расстреливали еженощно десятки и сотни людей. Но, как ни странно, и эта худшая часть населения, умевшая веселиться при всяких условиях, когда я присмотрелся к местным жителям и ознакомился с их настроением, в большинстве ненавидела большевиков и желала перемены власти. Ни бесплатными концертами и балами, ни какими-то пустующими приютами для кормилиц с огромными плакатами-наставлениями о том, как надо кормить грудных детей и т. п., нельзя было купить даже эту беспринципную толпу. Произвол и бездарный формализм власти делали ее ненавистной и мещанам. Они старались сорвать что можно от власти, но потом сами же над ней смеялись и бранили ее. В нашем дворе, например, проживала какая-то веселая, накрашенная и раздушенная мещанка. Она узнала, что комиссариат социального обеспечения раздает пособия и даже пенсии безработным; подала прошение. К хозяйке дома после этого явился какой-то еврейчик, агент названного комиссариата, расспросил о роде занятий просительницы, смущался несколько тем, что «безработная» красится и душит, но дал по делу положительное заключение, в виду подтверждения хозяйкой дома, которая боялась обычной мести, в виде какого-нибудь доноса в чека, что девица бедствует. Последняя получила от казны ежемесячную пенсию впредь до приискания работы и веселилась, что так ловко надула комиссариат.

Двор наш, как и соседние, был полон дезертиров. Один из них не спал по ночам и дежурил. Летние месяцы были разгаром безумства чрезвычайки и повальных обысков целых кварталов. Автомобиль чрезвычайки навестил раза три и наш дом, а на улице нашей его шум был слышан каждую ночь. Как только у ворот происходило что-либо подозрительное, в особенности же, если среди ночи раздавался громкий звонок, все наши дезертиры, кто в двери, а кто и в окна выскакивали во двор и в глубине его рассаживались на деревьях. Одного из таких дезертиров, когда он уже решительно не мог почему-то дольше скрываться, мать с плачем проводила на службу, конечно, в другой части, а не в той из которой он дезертировал; служился молебн; товарищи его долго выпивали с ним по поводу разлуки. Пароход, на котором отправлялся воинский эшелон, должен был уйти в 5 часов утра; вдруг часа в три ночи у наших ворот раздалось пыхтение автомобиля. Хозяйка моей квартиры, женщина слишком добрая и непосредственная, чтобы щадить чужие нервы, по обыкновению своему разбудила меня нервным шепотом: «Молитесь Богу, приехали». Я обычно спал тревожно и сам слышал все происходящее на улице; но это было лучше, чем пробуждение под шепот испуганной женщины. После долгих переговоров у ворот и рассадки наших дезертиров на тополях, выяснилось, что на автомобиле прибыл наш покающийся дезертир; он снова бежал и был при этом так нахален, что захватил с собою товарища-шофера вместе с машиной; через день они оба удрали из Киева.



Усиление повальных обысков и отсутствие спокойного сна чрезвычайно утомляли нервы. К этому, вследствие безденежья, начало присоединяться и недоедание; чувство голода особенно сильно было, когда не хватало табаку; в такие дни я против воли засыпал по несколько раз в день там, где сидел. Утром я выпивал стакан чаю-суррогата (морковного или розового) с небольшим куском черного хлеба, фунт которого тогда стоил 150 рублей. Следующий прием пищи — обед был в 5 часов вечера; это был самый голодный промежуток дня; обед обычно состоял из большой тарелки вареного картофеля с поджаренным салом — шкварками. Он был, а может быть казался, чрезвычайно вкусным. Вечером опять чай с хлебом. Раз в неделю я пировал: ел мясо или кисели из ягод. Ложился спать очень рано — часов в девять, так как освещения не было никакого; в столовой иногда зажигалась лампадка у иконы, да раздевался Л. 466. я при свече. Днем читал и занимался с усилиями, но без большого успеха, много часов подряд немецким языком. Большое отвлечение от мрачных мыслей и физическое наслаждение давали прогулки по кладбищу; там было безлюдно, тихо, безопасно. Издали виднелся Китаевский монастырь, и было как-то дико-странно сознавать, что живешь в такое время, когда не имеешь права побывать в родном углу, повидаться с матерью. Блуждая среди могил, я находил по надписям на памятниках старых знакомых и тех, что погибли в смутное время, а еще недавно были со мною на работе. Одним словом, жизнь была в роде тягучего и порою страшного сна; какая-то нереальная. Нужны были большие усилия воли, чтобы не потерять душевного равновесия, особенно тогда, когда после обнадеживающих слухов с фронта, большевики вещали о своих успехах, ходили по городу с музыкой и устраивали празднества. Однако, жизнь в это время, ее прелести, как-то особенно привлекали и ценились, чисто по животному ощущению. Запах цветов, хороших папирос, вид на Днепровские дали и т. д. — все это казалось необыкновенно красивым и нужным. Было ощущение настоящей радости, когда просыпаясь утром, сознавал, что ночь прошла благополучно и до следующей ночи предстоит длинный день, за который можно увидеть много красивого.

С половины июля настроение резко изменилось к лучшему, так как большевики уже не могли скрывать успехов Деникина и Петлюры. Последний месяц моего пребывания в Киеве мне представляется, как непрерывное прислушивание к звукам артиллерии. С утра я выходил на прогулку с слушал; день, в который далекий гром затихал, проходил в унынии; наоборот, когда нельзя было сомневаться, что эти звуки несутся из-за Днепра, всем моим существом овладевало жизнерадостное настроение, такое, какое бывало только в детстве. Когда пушки начали грохотать совершенно явственно, на лицах всех встречавшихся со мною было выражение нескрываемой радости; и уличные мальчишки, и старик пастух, и разные бабы-торговки, буквально все, не «буржуи», а именно народ, каждый раз, как громыхало особенно сильно, радостно подмигивали мне и глазами показывали по направлению к Днепру. На балкон соседнего дома до поздней ночи выскакивала белокурая немочка и, не боясь уже никаких «шпионов», прикладывала руки к ушам, прислушивалась и радостно подпрыгивала, когда раздавался

Л. 467. сильный разрыв. Однажды я отправился к полотну железной дороги; там метались беспорядочно перегруженные всяким военным скарбом и солдатами поезде. Я не выдержал и спросил солдат одной теплушки, куда они едут. Они как-то сконфуженно отвечали: «Да вот возили нас до станции Дарница (это первая станция по ту сторону Днепра), а теперь обратно тащат; нет уже проезда». Я понял, что час нашего освобождения пришел.

Через несколько дней мы проснулись ночью от свиста снарядов над нашим домом. Артиллерийский бой шел уже в городе. Передать словами чувство радости при шипении и разрыве снарядов — нельзя. Впервые за десять месяцев я под утро на несколько часов заснул вполне здоровым крепким сном. Рано вышли мы на балкон; кто же владеет городом? На улице было еще пусто; вдаль мы заметили вдруг какую-то конную фигуру; на русскую форму не похоже. Мой сожитель отправился на разведки. Оказалось, что в городе петлюровцы. Это было для нас большим разочарованием; ожидали добровольцев. Но все-таки теперь перемена власти давала надежду на возможность бегства из Киева на юг России. Из предосторожности я первый день не выходил на улицу. Ночью опять началась непонятная канонада. Утром выяснилось, что вошедшие со стороны Черниговского шоссе добровольцы прогнали петлюровцев. То ликование на улицах города, которому я был свидетелем в эти дни, напоминало большие праздники; казалось по оживленному веселью народа, что у нас второй раз в этом году празднуется Пасха. Когда я впоследствии вспоминал, как поджидалась и встречалась у нас добровольческая армия, я с горечью думал, сколько нужно было нашему южному правительству обнаружить деловой несостоятельности, чтобы не удержаться среди так враждебно настроенного к большевикам народа.

Праздничное настроение нарушалось подсчетом жертв большевиков за последние дни. В Липках, в сарае дома Бродского, большевики перед уходом истребили сотни людей, в том числе десятки известных судебных деятелей. Я отправился туда и видел, как в саду усадьбы из свежее засыпанных ям вытаскивали коричневые, скрюченные тела; их поливали из уличной водопроводной кишки, с них стекала земля, далеко вокруг распространялось трупное зловоние. По мере очистки трупов, родные и близкие узнавали своих. Л. 468. Привозились одежды, покойников одевали, укладывали в гробы и постепенно вывозили. Мне передавали, что какая-то француженка, со свойственной иностранцам «чуткостью» воскликнула при этом: «О, какой подлый русский народ, я его ненавижу». Никто ей не напомнил, что коричневые и зловонные трупы — это именно лучшие русские люди, я те, кто перед бегством их расстреливал — евреи, латыши, китайцы, пригласившие в свою среду для истребления русского народа только нескольких представителей его преступного мира. Я обошел арестные помещения чрезвычайки; видел надписи на стенах со знакомыми фамилиями: «Здесь сидел Науменко» и др. Думаю, что Шильонский замок показался бы европейским туристам наивным памятником человеческой жестокости, если бы они ознакомились с теми абсолютно темными, душными клетушками, в которых мучили большевики свои жертвы перед их смертью.

Первым служебным поездом из Ростова приехал мой брат, занявший в местном управлении юстиции должность начальника отдела (директора департамента). Он, со времени бегства от петлюровцев так изменил свою наружность (прическу, бороду, усы), что я при встрече представился ему. Только, когда он сказал мне в ответ на названную мною фамилию: «по странной случайности тоже Романов», я, услышав знакомый голос, узнал его. Он приехал в Киев для восстановления разгромленного большевиками учреждений округа киевской судебной палаты. Я с живым интересом расспрашивал его о программе и составе Деникинского правительства. Его ответы были как-то чересчур кратки, неопределенны; чаще всего он повторял: «Советую тебе много не задумываться, верь, как я, только в Деникина; Деникушка не выдаст, а остальное вздор». Тут впервые у меня начало закрадываться сомнение в способность южных правителей победить большевизм, тем более, что от брата я узнал о разных кубанских радах и тому подобных казачьих учреждениях, нарушавших единство противобольшевистских сил и прodelьвавших, при бездарных и нечестных руководителях, хорошо знакомые киевлянам опыты сепаратизма и социализма.

Я выехал из Киева в Ростов через несколько дней тем же первым поездом, которым приехал мой брат. Слишком много тяжелых переживаний было связано с Киевом, чтобы оставаться здесь Л. 469. хотя бы один лишний день. Мы впервые шли в Екатеринославском направлении; в безопасности пути не было уверенности, почему перед нами шел вооруженный пулеметами поезд. Уже при этой первой моей поездке по району Деникина, я мог убедиться в отсутствии строгого наблюдения, твердой власти. В наш поезд допускались пассажиры только по служебной надобности, на основании именных разрешений. Между тем, сразу же в нашем вагоне обратил на себя внимание молодой, изящно одетый кавалерист, который в совершенно большевистских тонах возмущался, что едут какие-то штатские генералы, а боевому офицеру негде присесть, потребовал у коменданта поезда список пассажиров, делал различные ироничные замечания и внезапно исчез из поезда, когда мы посоветовали растяпе-коменданту проверить документы этого «офицера». Затем, в другом вагоне мой знакомый признал в одной из пассажирок в костюме сестры милосердия еврейку, жившую с ним в одном доме, которая предала чрезвычайке несколько квартирантов этого дома. «Сестру милосердия» удалось задержать и сдать коменданту станции в тот момент, когда она, догадавшись, что ее узнали, решила выйти из поезда, не доезжая Ростова.

Как калечил режим большевиков нервы людей, имевших несчастье попасть хотя бы временно под их иго, я могу судить по ехавшему вместе со мною моему другу-сослуживцу по Земскому Отделу В.Ф. Добрынину. Им овладела меланхолия и мания преследования, от которой он не освободился даже после разгрома большевиков. Он сомневался, что мы можем благополучно доехать хотя бы до Екатеринослава, не говоря уж о Ростове. Когда мы вышли на станции «Екатеринослав», я, желая подбодрить Добрынина, сказал ему: «ну, вот видишь, Фома неверный», он обнял меня за шею и, печально-измученными глазами смотря в даль, тихо сказал: «Неужели же

ты серьезно думаешь, что мы будем в Ростове?» На станции «Ростов» повторилась та же сцена, и Добрынин с печальной усмешкой, говорил: «Ты веришь, что мы здесь долго продержимся». Я понял, что его душа неизлечима. Он скончался, к счастью, на родной земле, в Новороссийске, в теплушке, перед эвакуацией этого города, в состоянии душевной болезни.

В Ростове, после радостной встречи с сослуживцами по Л. 470. Красному Кресту, я пробыл не долго. Нервы мои тоже нуждались в укреплении, и мне была предоставлена возможность полечиться в Кисловодске нарзанными ваннами.

Кисловодск был не тот, каким я его застал раньше, при старом режиме. Уже при самом входе в парк поражало отсутствие тополевой аллеи. Вместо высоких деревьев были разбиты цветники. Это — памятник местной революционной работы. Везде, конечно, грязнее, чем прежде, но парк успели после ухода большевиков привести в порядок. Вода в ванны подавалась с перерывами по два-три дня. Правильного курса водолечения пройти нельзя было; отдых нервам давали только прелестные прогулки по парку, в горы, к «Храму воздуха». В остальном пребывание в Кисловодске было печально, так как здесь именно стали закрадываться в душу сомнения в прочности деникинского дела. Газеты сообщали об остановке добровольческих войск у Орла и затем о начавшемся отступлении их. Я принуждал себя, по совету брата, верить только в Деникина, но не мог не смущаться такими явлениями, которые бросались в глаза даже при мимолетном знакомлении с местной жизнью, как например, крайне убогое существование инвалидов великой войны в местном городском приюте; у города средств, вероятно, не было; правительство же юга России поднимало курс бумажного рубля и скаредно экономило на всем. Я посетил приют; видел почти пустую аптеку его, пробовал жиденький суп, мне показали старых генералов или полковников без ног, которые сами стирали себе белье, лежа на полу; с ужасом я узнал, что здесь в центре нарзана, инвалиды лишены ванн, так как последние очень «дороги». Большинство не жаловалось, мрачно молчало; некоторые же говорили со злобой: «теперь не до нас: мы бились с немцами, а не с русскими, все заботы теперь о добровольцах, а не о старых солдатах» и т. п. в этом духе. Делопроизводитель приюта (кажется он так назывался) по внешности имел вид «товарища». Я сказал мимоходом: «Хорошая у вас почва для большевистской пропаганды», он живо ответил: «Да, у нас почти все большевики». Всякий озлобленный человек, всякий с искаленной душой инвалид, не нашедший участия в его судьбе, делается большевиком не в смысле сочувствия идеям коммунизма, а потому, что из чувства мелкой мстительности желает разрушения того строя, при котором он оказался в беспомощном положении. Вожди большевиков, играя на самых низких инстинктах человечества, пользуясь его слабостями, воображают, что они побеждали идеями, а не просто гнусностью, но от этого было не легче их врагам, терявшим или уменьшавшим число своих искренних приверженцев.

По осмотренному мною Кисловодскому приюту, я совершенно ясно мог себе представить, что происходило на местах в земском и городском

хозяйствах, о бедствиях которых, вследствие безденежья, и отсутствия сильной помощи от центральной власти, мне приходилось слышать со всех сторон. Восстанавливались поспешно старые органы; вернее, названия их, без старого делового содержания; это только подрывало в глазах населения авторитет восстанавливаемых учреждений: стоит ли за них бороться, когда все равно живется скверно? А силы принуждения, настойчивой жестокости, только и дающей победу в гражданской войне, если нет возможности произвести магические преобразования, у наших южных правительств не было.

Я не берусь, и это не входит в задачи моих записок, давать очерк причин, погубивших добровольческую армию. Мне хочется только поделиться своими обывательскими впечатлениями, которые, как лишний штрих, могут оказаться не бесполезными для будущих историков, при разборке ими разнообразных материалов о движении, возглавленном именами Корнилова, Алексеева, Деникина.

Вернувшись в Ростов, этот всегда мне не симпатичный, безвкусный город торгашей, а теперь особенно грязный и беспорядочный, я очень скоро потерял способность быть оптимистом. Я чувствовал, что в лице Деникина Россия имеет безупречно чистого честного гражданина. Его речи, по образности и силе их, напоминали столыпинские. Но какая же программа, кто исполнители ее? Ни того, ни другого уловить нельзя было. У врагов и совершенно ясная, утопически-безумная, но конкретная программа, и исполнители, действующие террором. Здесь же не монархизм, но масса монархистов, не социализм, но масса утопически-лживых писаний в прессе, с обычными нападками на буржуазию, черносотенство реставраторов и т. п. Здесь были хотя и не большевики, но люди взаимно не объединенные и друг другу не верящие. В первые же дни по прибытии в Ростов я из какого-то местного листка узнал, что во главе Красного Креста стоит «старорежимное лицо, которое давно пора удалить», что это лицо «проделало в Одессе темную спекуляцию с сахаром» и т. д., и т. д. Это писалось о таком деятеле, как Иваницкий; разные самостийники верили газетным сплетням и злорадствовали, что во главе Всероссийского Красного Креста — «нечестный черносотенец». Все они крали, брали взятки, но поднимали чрезвычайно радостно шум, если о старорежимном деятеле распускался пресой какой-то неблагоприятный, хотя бы и ни на чем не основанный слух. Никаких опровержений, никакого преследования клеветников, и клевета ползла и отравляла граждан. Терялась вера в свои учреждения, ими не дорожили, при них сплетничали, как некогда при Царе. Большевики в таких случаях расстреливали, так как чувствовали себя на войне, наши правители улыбались: «стоит ли обращать внимание на каждого газетного писаку?».

В составе правительства были хорошие, умные и честные люди, но большинство совершенно не отвечало тем требованиям, которым должны удовлетворять деятели смутного времени, — в них не было ни смелой инициативы, ни силы воли. Достаточно было посмотреть на расслабленную фигуру министра внутренних дел — Несовича, чтобы потерять вру в деникинское правительство. В прошлом — хороший судебный оратор, образо-

ванный юрист, и больше ничего. Такой министр возможен в какой-нибудь маленькой республике, в Швейцарии, в государстве с вполне налаженной жизнью, но во время гражданской войны — это просто недоразумение, не знаю какими причинами объяснимое. Другой ответственный портфель — юстиции принадлежал либеральному мировому судье Челищеву, который за общими либеральными фразами терял понимание действительности; например, в обстановке общего развала верил в справедливость тюремного заключения, когда содержание арестанта обходилось ровно столько же, сколько содержание любого чиновника министерства, когда тюрьмы по недостатку кредитов разрушались, представляли из себя заразные очаги и т. д., и с негодованием отвергал мысль о расстреле воров, грабителей и т. п., стараясь, при случае, тяжких преступников передавать на усмотрение военных властей, лишь бы гражданская юстиция и в обстановке военного времени хранила все заветы правосудия, установленные либеральным кодексом.

О финансовой политике я уже упоминал вскользь. Рубль поднимали сокращением выпуска бумажных денег, не считаясь с жизненными потребностями. Мне говорили, что в Киеве по безденежью погиб один детский приют, который при большевиках имел массу, хотя и дрянных, но все-таки нужных на ежедневное довольствие детей, денег.

Я лично решил не идти на государственную службу, так как она не могла, в описанной мною обстановке представить какой-либо интерес, но небольшого относительно жалования по должности члена Главного Управления Красного Креста не хватало на жизнь, и я взял, по предложению С.П. Шликевича, место заведующего контролем в Комитете Земского Союза.

Это обеспечивало мне довольно плохой стол и холодную комнату, впрочем, при мало обременительной, но зато и достаточно скучной, работе.

Предложение места в составе правительственных учреждений я получил, еще будучи в Кисловодске; мои приятели рекомендовали меня начальнику (министру) продовольственного управления Маслову — некогда известному либеральному оратору от оппозиции в Орловском земстве. По словам лиц, близко соприкасавшихся с ним, он был настолько неподготовлен к большой организационной работе, что ему хотели дать помощника из опытных чиновников старого режима. Я понятия не имел о продовольственном деле, которым никогда не занимался, а потому, естественно, не считал себя пригодным к продолжительной ответственной должности. А.В. Кривошеин, с которым я советовался по этому поводу, самым решительным образом был против того, чтобы я брался за незнакомое дело в переживаемое тяжелое время. Тем не менее, меня заставили посетить Маслова, говоря, что он сумеет меня убедить. Я зашел однажды к этому министру, объяснил ему причину моего прихода и заявил, что я категорически отказываюсь принять назначение. Он на это сказал: «Очень жаль», и этим все его доводы были исчерпаны. Мне всегда казалось, что новой формации министры были несколько преувеличенного мнения о привлекательности для нас, старорежимных чиновников, тех или иных постов с громкими названиями; им была как-то мало понятна наша психология, за-

ставлявшая нас предпочитать более интересное Л. 474. и подходящее дело внешним служебным отличиям.

Так как мне говорили о нежелательности полного моего уклонения от государственной службы, дабы, вследствие перерыва в ней, не лишиться выслуженных прав, я, благодаря любезному согласию министра земледелия А.Д. Билимовича, был назначен представителем этого ведомства в Земельном Банке, но в заседаниях его совета ни разу не успел побывать.

Праздники Рождества Христова и день нового, 1920, года, я провел уже в вагоне, эвакуируясь сначала в Екатеринодар, оставивший по себе впечатление еще более грязного города, чем Ростов, а затем в Новороссийск.

Вся бездарность денкинского правительства ярко выразилась в обстановке и усилиях эвакуации Ростова. Необходимость ее для чего-то скрывали, план перевозок составлялся отдельно и не согласованно по гражданскому и военному ведомству, Красному Кресту почему-то было воспрещено вывозить заблаговременно довольно богатый его склад, и если бы не инициатива Главноуполномоченного, С.Н. Ильина, тайно погрузившего и отправившего склад, его многомиллионное имущество погибло бы для добровольческой армии. Мало того, когда этот склад очутился у станции Армавир, Управление военных сообщений, на запрос коменданта станции, что делать с вагонами склада, не нашло более остроумного выхода, как телеграфировать распоряжение о выгрузке вагонов в месте их стоянки, т. е. в открытом поле, как будто бы запас дорогих медикаментов, инструментария и проч. имелись на юге России в громадном количестве. Основанием для такого распоряжения являлось только то формальное соображение, что краснокрестное имущество не значилось в эвакуационном плане военного ведомства. Комендант станции оказался более вдумчивым человеком и не исполнил распоряжения начальства, дав направление нашему складу в Новороссийск.

К чинам судебного ведомства, которые, в случае оставления их в Ростове, обрекались на смерть, отнеслись при эвакуации в том же духе, как к имуществу Красного Креста. Это ведомство могло гордиться такими героями гражданского долга, как, например, судебный следователь, бежавший из уездного города перед Л. 475. приходом большевиков и вынесший в Ростов на плечах все важные дела и ни одной собственной вещи. И вот чины эти до последнего дня сидели в поезде без локомотива у ст. Ростов. Мой брат разделял общую участь своих сослуживцев и рассказывал мне кошмарные подробности их эвакуации, которая так его разочаровала в местных правителях, что он немедленно, по прибытии в Новороссийск, эмигрировал за границу, несмотря на крайне бедственное материальное положение.

Новороссийск — это была явная агония добровольческого дела. В вагонах, главным образом в теплушках, на железнодорожных путях, проживало здесь население в несколько тысяч человек — целый новый город. Все это население было во власти вшей — разносителей заразы сыпного тифа. Мест в лечебных заведениях не хватало, большинство болело по квартирам, в вагонах, там же и умирало. Иваницкий лично руководил организа-

цией заразных лазаретов Красного Креста, часто обходил больных, хлопотал об отводе помещений. Медико-санитарный материал имелся в нашем распоряжении в достаточном количестве, но военное ведомство всячески стесняло нашу деятельность, ставя затруднения с предоставлением помещений. Вообще чувствовалось ясно, что Красный Крест только терпим, но не оценивается во всем его полезном значении. Между тем, трудно себе представить, что происходило бы в Новороссийске без сохраненных наших запасов и наших врачей и сестер. Особо энергичную деятельность развил доктор Ю.И. Лодыженский, по инициативе и под ближайшим руководством которого были организованы дежурства врачей и сестер. Для посещения больных на дому, с оказанием им необходимой медицинской помощи. Однажды, поздно вечером, ко мне пришла из города (я жил на другой стороне залива в Стандарте) жена моего сослуживца, В.Н. Хрусталева; он заболел сыпняком, она же только что оправилась от этой болезни. Худая, истощенная, бледная, совершенно ооченевшая от холода, так как свирепствовал дикий местный норд-ост, а у нее не было никакой теплой одежды, — она пришла за помощью. В вагоне Иваницкого ей дали на обратный путь одеяло; на другой день Хрусталева посетил дежурный врач. В маленькой комнатке, без прислуги, с воспаленным лицом и в полубредовом состоянии, В.Н. просил меня только об одном — не оставлять его жену в Новороссийске. В госпиталях не было мест, и он всю свою болезнь проделал в своей комнате. Когда у него сделалось какое-то послетифозное осложнение, удалось поместить его в один из прекрасных краснокрестных хирургических госпиталей, в котором он и был благополучно эвакуирован за границу. Другой мой сослуживец по ведомству землеустройства, А.А. Зноско-Боровский погиб от тифа в несколько дней. А.Д. Билимович, оценив, по должности министра земледелия, деловые и душевные качества этих людей, принимал в их судьбе живое и доброе участие. Однако, не зная той обстановки, в которой по вине, главным образом, денкинского правительствa, приходилось работать Красному Кресту, он написал мне, живо задевшее меня письмо, содержащее в себе упрек в том смысле, что, хотя бы для сослуживца моего по Красному Кресту Х., следовало бы найти койку в госпитале.

Эти физические мучения товарищей моих по службе, их нищета и болезни, да продиктованный добрыми чувствами, но несправедливый упрек их нового сослуживца были последним моим впечатлением на родной земле. В этом как бы выявлялась вся обычная судьба старорежимного чиновника: отсутствие корысти и подверженность легкой критике со стороны.

В конце февраля наше Временное Главное Управление, в согласии с Комитетом Земского Союза, во главе которого стоял А.С. Хрипунов, вместо уехавшего С.П. Шликевича, постановило продолжать работу на русской территории до последней возможности, пока будет продолжаться деятельность добровольческой армии. Решено было только разгрузить Управление, и части его персонала, во главе со мною, было разрешено эвакуироваться, несколько же человек, во главе с Иваницким, остались в Но-



вороссийске и затем переехали в Крым, где исполняли свои обязанности вплоть до эвакуации.

Мне было предложено подготовить почву для возможной работы нашего центрального органа в Сербии.

1 марта, под затихающую метель и при сильном еще все-таки норд-осте, я стоял с моими сослуживцами на палубе парохода «Николай Чудотворец» и смотрел на берег России до тех пор, пока можно было его отличить от моря и неба. В душе я увозил тяжесть многих разочарований и сомнений; для сохранности тела я имел всего только тридцать тысяч так называемых «колокольчиков» — бумажных денег добровольческой армии. Будущее было совершенно неизвестно и неуверенно. Но судьба заграницей милостиво отнеслась к моему телу: два года с лишним оно было в общем сыто, одето и не страдало от голода. Что же касается души, то ее переживания на чужбине хранятся мною еще пока в голове и сердце и не переданы бумаге. В этих новых переживаниях вне родины самое ценное — это укрепление веры в талантливость и творческую способность русских людей; видеть этого не хотят только слепцы, не замечающие, как безропотно и красиво на самых разнообразных поприщах зарабатывает русский беженец: словом, пером, пением, музыкой, кистью, всевозможными науками, ремеслами и проч., и проч. Не видят этого также те, кто единичные случаи нравственного падения любят обобщать, а главное — кто не способен ни к каким сопоставлениям и сравнениям.

Остаться глубоким националистом в изгнании — это значит принадлежать к бесспорно великой нации.